

АЛЕКСАНДР КОСЕНКОВ

# ПОРОГИ



СИБИРСКИЙ  
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ  
РОМАН



Сибирский приключенческий роман

Александр Косенков

**Пороги**

«ВЕЧЕ»

2023

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Косенков А. Ф.**

Пороги / А. Ф. Косенков — «ВЕЧЕ», 2023 — (Сибирский приключенческий роман)

ISBN 978-5-4484-8984-6

Каждый порог на Ангаре смертельно опасен, и не случайно ее течение сравнивают со стремительным потоком жизни, в котором приходится преодолевать серьезные испытания-пороги. Нередко эта борьба связана с трагическими обстоятельствами почти непреодолимой силы. Герои книги – сибиряки минувших десятилетий, чьи судьбы накрепко переплетены с судьбой огромной страны. Рискуя собственной жизнью, они делают свой выбор, осознавая неизбежность следующего шага, зачастую столь же опасного, как и предыдущий.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-8984-6

© Косенков А. Ф., 2023  
© ВЕЧЕ, 2023

# Содержание

Часть первая	6
Приговор	6
«Смешная история»	11
Сон победителя	19
В некотором царстве...	25
Чужой	35
В год «Великого перелома»	37
Встречи	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Александр Косенков Пороги



Художник Макс Олин



© Косенков А.Ф., 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

## Часть первая Хлеб 1946 года

### Приговор

У коновязи, во дворе здания райсуда тесно стояли лошади. Шел четвертый час пополудни, было жарко, над крупами вздрагивающих лошадей густо гудели мухи. Лошади часто взмахивали хвостами и косились на мужиков, которые, пристроившись на старой перевернутой водопойной колоде и откупорив по случаю пребывания в райцентре поллитровку, только что мелкими глотками выпили теплую водку и теперь закусывали круто посыпанной солью отварной картошкой. Чуть в стороне кружком стояли и негромко переговаривались бабы, то и дело с любопытством взглядывая на грязные окна, за которыми уже второй час шло заседание суда.

Но вот заскрипела входная дверь, и на высокое крыльцо повалил из помещения потный раскрасневшийся народ. Мужики на ходу закуривали, бабы, которых было не в пример больше, шумно обсуждали случившееся.

– Федор-то, хоть бы словечко в конце сказал, – перекрыл всех высокий, словно плачущий, старушечий голос.

– Отговорился старый хрыч. Малец с за него, хламона лысого, биографию на оставшуюся жизнь покалечил.

– Степка тоже малохольный. Нет сказать – мое дело сторона, в подчинении находился, да и все тут, – туда же: – «Недоглядели». Получай теперь недогляд.

– Надежда плакать уже не может, изубивалась вся.

– Тебе бы так – не изубивалась? Степка сроду безобидный, толку, что с зарод вымахал. Пропадет теперя в лагерях.

Председатель колхоза «Светлый путь» Николай Перфильев боком протиснулся сквозь толпу, прихрамывая, подошел к коновязи, отвязал лошадь, неловко забрался в двуколку. Поднявшись с колоды, к нему шагнул конюх.

– Слышь, Иннокентич... – Он шумно выдохнул и, отводя глаза от председателя, замолчал.

– Ну? – Лицо Перфильева перекосила болезненная гримаса. – Начал – рожай. Чего, как девка на гулянке, морду воротишь? Отметили уже такое событие, не дождались.

– Это самое... – Конюх тяжело переступил с ноги на ногу и, словно за подмогой, повернулся к бабам. – Кто ж знал, что так-то обернется? Не дело это... Не по справедливости.

– Что «не дело»? Что «не по справедливости»? Советский суд не по справедливости? Думай, что говоришь, думай!

Перфильев зло натянул вожжи, лошадь попятилась. Но конюх взял лошадь за узду, остановил. Двуколку окружили бабы. Все смотрели на председателя. Тот с нарастающим раздражением от собственного бессилия и мучительной головной боли, не проходившей с утра, оглядывал лица односельчан, ждал, когда еще кто-нибудь заговорит, задаст вопрос. Но все молчали. За чьей-то спиной всхлипнула старушка. Не выдержав молчания, Перфильев резко, так, что звякнули ярко начищенные медали на вылинявшей гимнастерке, прыгнул на землю и шагнул к бабам. Те попятились.

– В деревне-то остался кто? Все собралися, представление им тут устроили. На покос никто не удосужился, забыли по поводу такого случая...

Дарья Московских, до слез жалея председателя, лицо которого пошло красными пятнами, а лоб заблестел от предобморочного пота, все же не выдержала несправедливости и веско, как всегда, отрезала: – Трава не просохла еще. Сам знаш – неделю дождь шел.

– Людей зазря гонять... – пользуясь тем, что от Перфильева его заслонил широкий зад Дарьи, пробасил от колоды собутыльник конюха.

– Так собираться, готовиться... Что вы тут – поможете? Любопытство одно...

Голос Перфильева сорвался. Он знал, что несправедлив, знал, что собравшиеся понимают это, понимают даже то, что он знает, что несправедлив. Но сказать ему сейчас было нечего, и сознание собственного бессилия и несправедливости было для него мучительнее самой ожесточенной ругани.

– Может, бумагу какую от колхоза? – спросил конюх и, снова шумно вздохнув, оглянулся на баб.

– Как дети малые! Ну, первый раз на свет родились, – тихо сказал Перфильев, вытирая покалеченной ладонью пот со лба.

– Неужто и председателю силы нет никакой? – прохрипел с соседней телеги незнакомый безногий мужик.

Лицо председателя снова перекосила болезненная гримаса.

– При чем здесь председатель?! – закричал он. – Вы поперед всего об законе соображение имейте, а не об председателе. Сахар потопили? Потопили! Отвечать должны? Должны! При чем тут председатель?!

– Так потопили, а не пропили, как там записали! – тоже закричала Дарья, повернувшись к окнам суда и явно надеясь, что кто-нибудь из записавших такое расслышит ее сильный уверенный голос. – Недогляд у мужиков вышел, что теперь, жизни им за это калечить?

Державшаяся до того в стороне у крыльца мать только что осужденного Степана не выдержала, растолкав баб, рванулась к председателю, ухватила за руку, словно боялась, что он не станет слушать.

– Карбас-то почто дырявый дали? Не знали, что продукты везть? Колхоз такой карбас дал, колхоз пусть отвечает.

От того, что говорила она явно не свои, а чужие слова, голос ее был неуверенным и тихим, срывающимся от сдерживаемых слез. Ничего более мучительного для Перфильева не могло сейчас случиться, чем слышать этот срывающийся голос. И уже почти не владея собой, он тоже закричал не свои, чужие, недавно услышанные слова:

– Ну да! Колхоз водку пил, колхоз незнамо где без памяти два дня валандался!.. Кончай, Надежда, это дело! Люди поумнее нас разбирались. – Но как только выкричались чужие слова, он тихо и виновато, обращаясь к конюху, лишь бы не смотреть в выцветшие от слез глаза Надежды Малыгиной, пробормотал: – К кому только не колотился... Раз так вышло, отвечать тоже надо. И это... На покос... Погода вон какая. С утра чтобы все, как один...

Дважды сорвавшись ногой со ступицы, он забрался в двуколку, хлестнул лошадь и выехал за ворота.

Бабы молча смотрели на Надежду, у которой без всхлипа потекли по щекам тихие слезы, но в это время на крыльцо в сопровождении начальника милиции и мальчишки милиционера вышли осужденные.

Федор Анисимович Щапов – невысокий лысоватый старик, с виду довольно еще крепкий, заросший жесткой седовато-рыжей щетиной, подслеповато шурясь, вглядывался в лица подступивших односельчан. Невнятная виноватая улыбка кривила его пересохшие губы. Степан, долговязый нескладный парень шестнадцати с небольшим лишком лет, тоже конфузливо улыбался и не сводил глаз с болезненно-тучного начальника милиции, который, выйдя на крыльцо, сразу же натянул по самые глаза новенькую форменную фуражку и строго оглядел двор, толпу, понурых лошадей, настезь распахнутые ворота, за которыми грязная мимоходная улочка круто

сворачивала к реке. Из-за реки, всем южным краем неба напозлали густые облака, обещающая к вечеру, если не потянет из-за сопков прохладный свежак, духоту и полуобморочную предгрозовую недвижность окрестных пространств.

«К ночи, глядишь, саму ее сволоту натянет, – подумал главный милиционер района с непонятным самому себе безразличием. – Позавчера гроза, поза-позавчера. Ежели и эта напозлет, до покосов незнамо сколько тогда не добратся, не начать. Травы перестоят... Да черт с ними с травами! Сводку вот-вот в область отсылать о скошенных гектарах, а посылать даже для отмазки нечего – никто и браться не думал из-за таких вредительских погод, напозлающих не то от далекого Байкала, не то от еще более далеких, прокаленных июльским солнцем забайкальских степей».

– На кого ж ты, ирод недотепанный, оставляешь-то нас? Куда я теперь с девками, много наработаю? – Надежда протолкнулась к Степану и тянула его куда-то за собой. Ее обычно негромкий голос в наступившей внезапно тишине был слышен не только во всем немалом казенном дворе, но даже с улицы заглянули да так и остались в воротах две какие-то никому не знакомые бабы и белообрый пацан лет семи-восьми. Надежда спохватилась, стала совать в руки сыну узелок с харчами и чистой старой рубахой, которую выстирала и прихватила, сама не зная на кой ляд.

– Держи... Молока маленько, картохи... Да держи ты... Проститься дадут или как? – оставив Степана, повернулась она к начальнику милиции.

– Напрощаетесь еще, – очнувшись от невеселых размышлений, буркнул тот. Потом, подчеркивая важность изрекаемого, нахмурился и, тыча толстым пальцем в плечо старику Шапову, стал давать последние наставления: – По возрасту, по совокупности содеянного, а также согласно определенному судом сроку, будешь за старшего. И смотри у меня! Исчезнете где или притаитесь – все одно отыщем. Да еще по столько добавят. Так что лучше наперед соображение имейте, гуси-лебеди. Сопроводилковку, смотри, не потеряй. Спрашивать станут, что и по какому случаю – показывай. Обязаны будут оказывать содействие. А пакет на месте отдашь. Поняли, гуси-лебеди?

Еще раз строго оглядев вытянувшихся в струнку Федора Анисимовича и Степана, двор и всех собравшихся, начальник милиции и милиционер зачем-то вернулись в помещение.

Односельчане плотно обступили Степана и старика Шапова.

– Понял или нет чего? – толкнула конюха локтем Дарья. Не дождавшись ответа, подступила к Шапову. – Это за какие такие заслуги, Федор Анисимович, в командиры тебя определили? – с притворной ласковостью в голосе поинтересовалась она. Ее высокая грудь уперлась старику чуть ли не в самое лицо, заставив того попятиться к шаткой балясине крыльца.

Сделав вид, что задумался над ответом, Федор Анисимович высказался не сразу. Дождавшись, пока все обратили на них внимание, громко объявил:

– Ты, Дарья, со своим евстеством так и не обучилась, как тому следует обращаться. Вопросы задаешь с подковыркой, а титьку в нос суешь, как дитю малому. – Он ловко поднырнул под упертую в бок Дарьину руку и, оказавшись перед мужиками, кивнул на Дарью. – Ни фиговинки они, бабы, не понимают в военной субординации.

– Ты, дядя Федя, толком объясняй, не чеши языком, – угрюмо сказал конюх. – И так дела, как сажа бела, а ты зубы скалишь. Без кузни деревню оставляете в самое, можно сказать, необходимое время.

– А я что, не объясняю, жизнь наша переменная? Дед был казак, отец – сын казачий, а я – хвост собачий. Дашка сроду чинов не различала. Нашла командира. Вот она – вся наша команда: я первый, да Степка второй. Правду мамка-покойница говорила: «Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою». Нету, объявляют, для вас сопровождающих. Дуйте, сказывают, своим ходом до Тулуна, до пересыльной, значит, тюрьмы. А там вас добрые люди куда следует наладят.

– Это ж сколь идти? – изумился конюх не столько решению милицейского начальства, сколько невероятной, по его разумению, сложности поставленной перед осужденными задачи. Не дождавшись ответа, убежденно сказал: – С голодухи подохнете!

– А сопроводилка на что? – не согласился старик. – Во... читай... Положено ночлегом и едой какой ни на есть обеспечивать.

– Нету тут про еду, – растерянно сказал конюх, прочитав короткую бумагу, заверенную смазанной лиловой печатью и витиеватой подписью.

– Имеется в виду, – не согласился Федор Анисимович, забирая бумагу. – Мы теперь люди казенные, об нас мир заботиться должен. Не чеши, Степка, за ушами, проживем, жизнь наша переменная.

– Ты мне Степку не тронь, прокут старый! – не выдержав, закричала Надежда. – Чего с парнем-то исделал? Из-за тебя все, анкоголик недотепанный! Совесть-то у тебя есть? Не пущу с тобой! Что хотите со мной делайте, не пущу! Он его вовсе до конца доведет, вовсе тогда возврата не жди.

Федору Анисимовичу, хоть и чесался язык, подобающего ответа на ум так и не пришло. Слава богу, мужик, все еще сидевший на колоде, достал из-за голенища сапога еще одну бутылку и окликнул его:

– Дядя Федор, давай, что ль, со сроком. Много припаяли?

Федор Анисимович отозвался не сразу, повременил, словно был выбор, подошел, не торопясь взял протянутый стакан.

– Уважили старость да службу непорочную, – громко объявил он, поворачась к односельчанам. – Уполовинили срок. Только и дали, что пять годков. Степке по малости лет да по глупости маленько помене...

– Ежели по глупости помене давать, тебя и вовсе без последствий отпустить надо было, – не выдержала Дарья и, отобрав у разливальщика стакан, одним глотком осушила его.

Анисимович дождался, когда она сунула в рот картофелину, и снова оборотился к односельчанам:

– На всех инстанциях подробно объяснял: не троньте Степку, мой недогляд. Куда там. Не пожелаали принять во внимание.

Он выпил водку и тяжело вздохнул. Мужик, у которого Дарья реквизировала приготовленную для употребления порцию, перед тем как хлебнуть прямо из бутылки, заинтересованно спросил:

– Так и подадитесь до казенной квартиры? В срок-то хоть зачтут?

– Чего ж не зачтут, – охотно отозвался старик. – Только особо нет смыслов тянуть. По всем расчетам за месяц с привеском должны объявиться на конечном пункте.

– Путь не малый, что и говорить, – посочувствовал кто-то из толпы.

– Теперь-то куда? – все еще не мог осмыслить случившееся охмелевший после второго стакана конюх.

– А до дому, – весело объяснил окончательно пришедший в себя Федор Анисимович. – В баньке отмокнем ото всех грехов, да и ходу. Слыхали, что начальник толковал? Заеду, говорит, узнаю, когда ушли. Колька-то Перфильев куда подался?

– В райком поехал за вас дуrolомов просить, – уверенно заявила Дарья, стараясь, чтобы ее услышали сидевшие в стороне Надежда и Степан. – В первый раз его сегодня со всеми орденами разглядели. Точно в райком, больше вроде некуда.

Степан пил молоко и внимательно прислушивался к разговору. Надежда глядела на него и утирала концом платка слезы.

– Пустое дело, – махнул рукой Федор Анисимович. – Судья что говорит? Ладно бы пьяные не были. А раз пьяные, то могли, конечное дело, сахар замочить, а могли и пропить. Где,

мол, деньги на водку брали? Докажи, что за пазухой вез, жизнь наша переменная. Как докажешь?

## «Смешная история»

А приключилась вся эта дурацкая история, за которую теперь мужикам пришлось держать суровый ответ, в точности так, как не раз и не два рассказывал Федор Анисимович и председателю, и молоденькому следователю из соседнего района (своим до сих пор так и не обзавелись), и всем знакомым и незнакомым, кто интересовался, за какие такие грехи и растраты старика и, можно считать, еще совсем мальчишку поместили вдруг под такой серьезный надзор в крохотную милицейскую каталажку, неудачно пристроенную к райкомовской конюшне.

Лето 1946 года еще только начинало отсчитывать тогда свои первые, не сказать, что ненастные, но и не так чтобы изобильные солнечным теплом деньки, когда из района дали знать, что если срочно не получить со склада райпотребкооперации отпущенный под осенний заезд охотников в тайгу кое-какой провиант, в числе коего значились и те самые горемычные полтора мешка сахару – богатство почти бесценное по нищему послевоенному времени, – то через день-два можно будет и не беспокоиться насчет полноценного обретения отписанного. Дыр и прорех в обессиленном недавней войной районном хозяйстве было, как говорится, куда ни ткни, а потому полки и закрома склада опустошались с почти молниеносной быстротой по заказам, требованиям и просьбам одна неотложнее другой. А в «Светлом пути», как на грех, ни лошадей, ни кладовщика, которого всегда в таких случаях отправляли за получением. Лошадей, измотанных до костей только что закончившимся севом, отогнали на дальние выпаса в заречную тайгу. Колхозную полуторку еще неделю назад отправили на ремонт в МТС. Кладовщик же, решив воспользоваться предстоявшей в хозяйственных делах передышкой, отпрашился в областной центр к дочери, от которой недавно пришла телеграмма о случившемся днями прибавлении семейства и о желании видеть новоявленного деда на гулянке по поводу возвращения из роддома. Тут и оказия подоспела в виде полудохлого тракторишки до дальнего леспромхоза, откуда баржой можно было сплавиться до Ангары. А там уж как повезет – пароходом или другой какой попутной холерой. В общем – ни кладовщика, ни лошадей. А подаваться следовало незамедлительно. Председатель за голову схватился – хоть пешком отправляйся. Так ведь восемнадцать километров не ближний свет. Да и не на горбу же переть мешки и ящики.

Федор Анисимович, позванный из кузни в правление в числе прочих помороковать над свалившейся на голову загвоздкой, чуть ли не с ходу предложил мигом принятый всеми выход – спустить на воду предназначенный для перевозки с островов накошенного сена карбас, спуститься на нем налегке до райцентра, загрузиться всем, чем положено, а обратно, не спеша, как и раньше велось, бечевой дотащить до деревни, где и передать доставленный товар под председательскую, до возвращения кладовщика, сохранность. А поскольку в кузне, по причине только что закончившегося сева и полного выполнения и перевыполнения поставленных на повестку дня задач, тоже обозначилась временная трудовая передышка, предложил Федор Анисимович в руководители карбаса себя, а в качестве тягловой и развлекающей дорожную скуку силы посоветовал – не без сомнений, впрочем, – своего помощника по кузне Степана. На том и порешили, радуясь удачному выходу из, казалось бы, безнадежного положения. Знать бы тогда, чем вся эта затея закончится...

Федор Анисимович вины с себя не снимал и никакими ссылками на случайности, разошедшийся от старости карбас и нектати разгулявшуюся дождливую непогодь не отговаривался, хотя и случайности, и все остальное вышеперечисленное было в полном наличии и сыграло, в конечном счете, свою решающую, можно даже сказать, роковую роль.

А началось все, если на первый взгляд рассуждать, с чистой случайности. Впрочем, Анисимович случайностью это признавать не желал. Более того, когда много позже старик вздумал всерьез поразмышлять над случившимся, то не иначе как заранее продуманным и вроде бы

даже почему-то необходимым и неизбежным изворотом своей ранее незамысловатой судьбы не называл эту негаданную встречу.

Заглянули они со Степаном, можно сказать, совсем не по делу в сторожку при складе. И неожиданно в сидевшей на лавке у самого входа тамошней сторожихе Анисимович, не сразу, правда, признал еще перед прежней войной подавшуюся из деревни вместе со всем семейством деваху. То ли по нужде, то ли с надеждой на бог весть какую более складную и удачливую жизнь Мирошниковы снялись с насиженного места, и с тех пор не было от них ни слуху ни духу, пока кто-то, незадолго уже до следующей войны, не притартал<sup>1</sup> из райцентра весть, что вроде узнали Григория, старшего сына из мирошниковского семейства, в тихом, старавшемся казаться неузнанном мужике, ожидавшем по большой воде у старенького дебаркадера оказии «в любую», как он с трудом выдавил из себя, «сторону, лишь бы подальше от этого сучьего, паскудами и придурками испоганенного места». Притартавшему эту весть не все поверили, а потом в начавшемся вскоре всенародном бедствии и вовсе не до судьбы бывших односельчан оказалось. У каждого свою долю понесло по кочкам, и неизвестно было, где и когда окончится этот страшный бег, да и окончится он когда-нибудь...

Когда-то горластая, развеселая, крепкая телом, но неподатливая на скорую любовь деваху, превратилась в толстую, болезненно неуклюжую бабу, испуганно взглядывавшую на засуетившегося Федора Анисимовича. Да и он ее, по правде, вряд ли признал, если бы не прежние ярко-синие, ничуть не выцветшие глаза, россыпь веснушек на щеках и шее, да взгляд исподлобья, прежде зазывно-веселый, насмешливый, а сейчас испуганно ускользящий, ни на чем и ни на ком долгое время не задерживающийся.

– Эхма! Марья Семеновна, жизнь наша переменная. Знал бы наперед, раскрыл бы рот. Были слухи, что вы где-то поблизости обитаетесь, а все руки-ноги не доходили конкретно поинтересоваться. По причине застарелого вдовства могли бы возникнуть серьезные намерения...

Он запутался не столько в словах, сколько в своих по подобному неожиданному поводу заторопившихся мыслях и, повернувшись к сгорбившемуся в низких дверях Степану, искренне подивился на то, что делает с людьми нелегкое и, несмотря на эту нелегкость, стремительно уносящееся в небытие время.

– Не образумлюсь никак с таких неожиданностей, Степан Ильич. Така девка была. Запоет – на том берегу пальники с веток валились от изумления. Я с-за нее чуть жизнь свою не покончил с огорчения по причине суки-разлуки, а теперь вот гляди... И сам с усам, и они без особого барыша, если по первому взгляду посудить. Вдовствуете, Марья Семеновна, или как?

– Всяко разное, – хрипло и не сразу отозвалась та и тяжело ворохнулась на грязной скамье. – А вас каким ветром?.. – Она хотела было назвать имя своего бывшего неудачливого уха-жера, но оно напрочь вылетело из ее беднеющей памяти. Помолчав, старуха безнадежно махнула рукой: – Чего теперя говорить. Отпелась, откуковалась Мария Семеновна. И хуже могло быть, да некуда. Не та беда, что во двор зашла, а та, что со двора не идет.

– Наше дело: что же делать, ваше дело: как же быть, – не согласился невесть почему чуть ли не до нервного расстройства взбудораженный встречей Федор Анисимович. – Степка, дуй в магазин. Сообрази «сучок» и пряников с полкила. Держи вот... – он протянул Степану смятые тридцатирублевки.

Пока Степан по причине деревенской стеснительности убоявшийся поинтересоваться у немалой очереди, ожидавшей у магазина возможного подвоза хлебушка, не отоваривают ли водкой и пряниками безо всякого ожидания, проторчал перед раскрытыми настежь дверьми торговой точки не менее получаса, Федор Анисимович слово за слово выпытывал у неразговорчивой, то и дело оглядывавшейся на дверь сторожихи, незамысловатую историю год за годом

---

<sup>1</sup> Притартать – притащить, добыть, принести.

опустошаемой жизни, в которой несчастья и потери с лихвой перевешивали горстку если и не счастливых, то хотя бы временно спокойных, не обремененных безнадегой и болями дней.

Родители Марья сгинули в одночасье. Из ее односложных ответов Федор Анисимович так и не добился понятия, что за беда – болезнь или иное какое привычное для тех лет событие обрушилось на некогда крепкое трудолюбивое, жизненной силой и неизбыточным весельем семейство. Братья тоже попропали кто куда – ни восточек, ни следов не обозначилось и до сих пор. Подозревала Марья, что война ни одного из них не пощадила, если только гораздо раньше не снесли под корень их по-деревенски нерасторопные и глупые молодые жизни обстояательства ничуть не менее страшные и безжалостные, чем захлебнувшаяся в крови безнадежная атака или методичная бомбежка неумело залегшей вдоль дороги колонны необстрелянного сибирского пополнения. О себе Марья поначалу и вовсе говорить не желала, отделяваясь односложными «да не» или «ну», из которых неотвязный расспрашиватель так толком и не разобрал, когда и при каких обстоятельствах и в каких примерно направлениях затерялся на веки вечные ее первый, законным образом оформленный в мужья, расторопный, говорливый и работающий парень, фартовый охотник, один из первых в этих местах заводила не то соревнования по сверхплановой добыче «мягкого золота», не то движения в защиту «катастрофически редящего пушного поголовья». О притулившемся к ней ненадолго перед самой войной сожителе Марья и вовсе слова не сказала, махнула только бессильно рукой – чего, мол, говорить о том, о чем и вспоминать никакой охоты не было. В последнее время она уже почти и не вспоминала болезненным чадом накатывающее пьяное неразборчивое бормотание, перемежаемое истеричными пьяными криками, боль от непонятно за что перепадающих побоев, похмельные слезы и животный страх перед неизбежным возвращением туда, откуда его невеста по какой счастливой случайности или ошибке вышвырнули, с правом проживать как можно дальше от тех мест, которые и во сне, и в пьяном бреду мерещились ему постоянно.

Беременела она несколько раз, но дети не держались, умирали в первые же месяцы, а то и дни своей еле теплившейся жизни. И до сих пор ей было невдомек – ее ли или иная какая вина обрывала чистое детское дыхание каждый раз прямо у нее на руках, из которых она подолгу потом не хотела выпускать остывающее, невыносимо хрупкое и почти невесомое детское тельце.

– В другом разе в голову придет: может, и слава богу, что так-то все с имья?

– Это вы об чем, насчет бога, Марья Семеновна? – не понял старик и снова попытался заглянуть в глаза упорно смотревшей в сторону собеседницы. Поскольку та молчала, решил осторожно изложить только что пришедшее в голову рассуждение: – Лично у меня такое соображение, что этот самый бог или что там еще, ежели имеется, длительное время в полной растерянности и даже недоумении находится. По причине всего на свете происходящего. А потому отношения к этой нашей переменной во всех направлениях жизни не имеет. Или не желает иметь, как я понимаю, что более соответствует.

– Слава богу... – словно не слыша его, продолжала женщина, и в ее хриплом голосе явно обозначились не то слезы, не то сорвавшееся от волнения дыхание. – ... Что померли мои детки, слава богу, говорю. Зачем им это? Разве выдержишь? Мужу каленному не выдержать, в головешку свернется. А детки светлые, легонькие... Волосики, как пушок. Дыхнешь – они шевелятся, шевелятся...

Федор Анисимович от этих ее слов не то чтобы растерялся или не понял чего, а просто с мгновенной, самого его испугавшей прозорливостью, вдруг не то нутром, не то тем, что раньше называли душой, догадался, что еще и году, пожалуй, не минет, как сойдет на нет эта, давно потерявшая опору и не имеющая возможности хоть за что-то зацепиться в своем медленном скольжении к небытию, жизнь. И ему вдруг неизвестно отчего показалось, что именно у него, тоже одинокого, безо всякой семейной опоры прозябающего на этом свете некорыстного и незлого человека, может отыскаться невеликое, но вполне достаточное для недолгого сугреву

количество тепла и заботы, которое могло бы помочь этой почти умершей женщине удержаться в окончательном отречении от того страшного мира, в котором она, как ни старалась, но так и не смогла отыскать ни участия, ни счастья.

– Значит так, товарищ Мария, бывшая гражданка Мирошникова... Извиняйте, не знаю вашей на настоящий текущий момент фамилии. Постановление общего собрания будет такое... Прошу занести в протокол и не забывать из виду. Эх, знал бы наперед, раскрыл бы рот. А поскольку жизнь наша полностью переменная, то из беды не за бедой бежать, а маленько отдышаться требуется и в себя по возможности сил прийти. Я что в настоящий момент на полном серьезе излагаю и прошу такое же полное, по возможности, внимание проявить. Дом-пятистенка, если еще помните по бывшему соседству, в полной сохранности. Картошка и всякая там чепухня по нонешней погоде дуром прет. Корову или телку, если приложить соответствующее усердие и объединить возможные сбережения, тоже, это самое... Вполне даже вероятно... По нонешнему времени можно не помереть, а очень даже наплевать на всякие там... Мало ли чего у кого сейчас в жизни. Горе подсчитывать – вовсе от него не отцепишься. А если насчет переезду какие трудности или сомнения, это дело полностью несущественно.

Мария на всю эту сбивчивую и торопливую словесную трескотню поначалу ровным счетом никак не реагировала. То есть абсолютно. Сидела, безучастно глядя себе под ноги, и только опухшие ее руки с какой-то излишней тщательностью разглаживали на коленях выцветший ситец старой, чуть ли не до пят юбки, которую даже в настоящее бестоварное время не каждая бы старуха на себя надела. Федор Анисимович даже засомневался – слышала ли она вообще его запутанное и неожиданное предложение. И потому, помолчав немного, снова сунулся с уговорами.

– Ежели сомнения насчет характеру и всего остального, чтобы, значит, насчет семейного спокойствия и безопасности – понятное дело, обжегшись, на сырую воду дуют, – то в деревне вам, Марья Семеновна, каждый подтверждение выдаст, что дядя Федор Щапов, хотя отчасти жизнью переменной покалеченный и здоровья, можно сказать, половинного, по причине чего был отстранен от воинской повинности на отечественных фронтах, пальцем в своей жизни никого не трогал и трогать не собирается. Выпить, конечно, могу, но исключительно в подходящей компании и исключительно по уважительной народом причине. Ну а детки, поскольку речь была... У меня, положим, их тоже не осуществилось. И ничего тут уже не поделаешь. Не та беда, что во ржи лебеда, а то беды, что ни ржи, ни лебеды. В настоящий момент в голову приходит, как бы все могло ловко сложиться, если бы тогда еще спохватиться. До вашего непонятного отъезду. – Он помолчал немного, затем осторожно поинтересовался: – Какое вы насчет этого всего соображение имеете, Марья Семеновна?

Та наконец словно очнулась от сумеречного беспамяත්ства, удивленно глянула на беспокойно ерзавшего Федора Анисимовича, нахмурилась, с усилием восстанавливая в памяти смысл только что услышанных слов. Видимо, суть их так и не сложилась для нее в то очень понятное и простое предложение, которое, по своему обычаю, старик запутал ненужными торопливыми словами, и она неожиданно поняла их, как ехидную похвальбу счастливо сложившейся жизнью перед ее совершенно не сложившейся и теперь уже неисправимо заканчивающейся. Ну а последний намек на то, что все могло сложиться иначе, будь она в то дальней-дальнее время поговорчивее и подальновиднее, резанул ее по сердцу той вроде бы правдой, которая на самом деле правдой быть не могла, потому что не случилась и потому что, как это ни странно, но ни разу, сколь немилостива ни была к ней судьба, ни разу в жизни не пожалела она о том, что когда-то насмешливо отклонила несмелое предложение рыжего нескладного парня поехать с ним с ночевой на ближнюю заимку. Да что там – ни разу она не вспоминала ни о нем, ни о его предложении.

А тут еще, споткнувшись о высокий порог, ввалился Степка и, ни слова не говоря, брякнул на шаткий стол бутылку и рассыпавшиеся из ветхого газетного кулька закаменевшие мятные пряники.

– Чего бог не нашлет, того и человек не понесет, – сказала она неожиданно сильным молодым голосом.

После долгого молчания, во время которого никто даже не шевельнулся, Федор Анисимович осторожно спросил:

– Возражений, конечно, не имеется, все так и получается. Желательно только... Как бы это... В голову чего только не придет, когда понятия ясного не имеется. Я, Степан Ильич, – повернулся он за поддержкой к Степке, – в настоящий момент, может быть, всю свою дальнейшую жизнь решаю. Поскольку Марья Семеновна бесповоротно должна объявить... Решайте, Марья Семеновна, чтобы окончательно. Поскольку так проживать, как вы в настоящий момент, не имеет никакого, можно сказать, политического и прочего смысла.

Степка, приоткрыв рот, медленно опустился на лавку и, ничего не понимая, переводил взгляд с дяди Федора на грязную, как ему сразу показалось, неуклюжую и явно больную, не в себе, старуху, которая вдруг потянулась за стоявшей в углу за дверью винтовкой, неумело, по-бабьи перехватила ее поперек и полукругом повела стволом, обозначая путь к незакрытой двери.

– Не положено! – громко и сердито сказала она.

Поскольку ни старик, ни Степан не тронулись с места, а только недоуменно переглянулись, она, подождав, снова сильным и чистым голосом объявила:

– Посторонним не положено. По инструкции, которую товарищ Ушивый подписал. Значит, уходите от греха. Склад здесь, и нечего тут.

– Мы что ль посторонние, жизнь переменная? – ворохнулся было, так и не поняв, что произошло, Федор Анисимович и дернул за полу вскочившего Степана. – Сиди, Степка, взаимное непонимание чистой воды. Я соображаю, Марья Семеновна, вы по причине глубокой задумчивости от прошлых переживаний не вполне осознали, что я имел в виду...

– Мне что за дело, что ты имел! – с раздражением и даже злобой в голосе сказала сторожика. – Имел и владей, а до других не касайся. У тебя своя жизнь, у меня своя. И нечего похвастаться. Хорошо живешь, вот и иди дале. Не ровен час, заразу каку с непутевой стороны подхватишь. Горе не хуже холеры какой, уцепится за подол, до самой смерти держать будет. И тех, кто поблизости, тоже не помилует. Так что исчезайте, люди добрые, подобру-поздорову, пока я на помощь кого посерьезнее не кликнула. По инструкции стрельнуть могу. За неподчинение.

– С простоты своей люди и пропадают, – невесть что имея в виду, пробормотал старик и поднялся.

Поднялся и Степан, испуганно поглядывая на чуть ли не в живот ему уткнувшийся ствол старенькой ржавой трехлинейки.

– Война-то вроде закончилась, Марья Семеновна. Чего ж теперь людей стрельбой пугать, когда они с добром...

– И добра мне вашего ни даром, ни за спасибо не требуется. Забирайте свои прилады, чтобы духу в сей момент не было.

Вид у закаменевшей лицом старухи был так суров и непреклонен, что Федор Анисимович смекнул наконец, что дальнейшее продолжение уговоров и объяснений, как об стенку горох. Не поняла и не приняла его торопливых и щедрых до глупости посулов смирившаяся с безжалостностью своей судьбы женщина. Да и то сказать, мог ли он в своей внезапной для самого себя решимости устроить ей избавление от непосильных утрат, которых даже тихая и безобидная от посторонних жизнь, безоглядно им обещанная, нипочем не изгладит, а, скорее, сделает еще горше и непереносимее. И еще показалось Федору Анисимовичу в этот неприятный для него и Степки момент безоговорочного отказа от сгоряча предложенных даров, что стоящая перед

ним женщина не только не повреждена умом, а перед скорым своим навсегдашним прощанием с той малой толикой солнечного света, что косым лучом падал на грязный заплыванный пол сторожки, куда телесно сильнее, а горьким жизненным опытом душевно мудрее его самого – глупого суетливого старика, пытающегося шутками, прибаутками и показной для посторонних неунывностью скрыть свое глубочайшее одиночество и полное непонимание запутанно и грозно суетящейся вокруг жизни.

С машинальной деревенской бережливостью не забыв прихватить поллитровку и сунуть в карман половину рассыпавшихся по столу пряников, Федор Анисимович, не говоря больше ни слова, подался вслед за Степаном к двери, но на пороге все же задержался и оглянулся. Опять кольнула где-то около сердца память по-молодому синих, не замутившихся смертной тоской глаз. Он низко, в пояс поклонился неподвижно стоявшей и смотрившей поверх его головы женщине.

Остаток дня пролетел как в тумане, напоминая дурной похмельный сон, в котором даже четкая определенность и последовательность событий кажется невнятной и бестолковой, когда начинаешь вспоминать на свежую голову. Происходило так, по мнению Федора Анисимовича, вовсе не от того, что, выйдя из сторожки и пытаясь заглушить неведомое ему ранее душевное расстройство, приговорил прямо из горлышка чуть ли не половину трепыхавшегося в бутылке зелья, а потому, что с этой минуты и до момента полного почти через сутки осознания происшедшего все, что он делал, говорил, думал, казалось ему после случившегося в сторожке таким мелким, бессмысленным и никому не нужным, что заботиться о благополучном окончании порученного ему дела он и думать позабыл.

– На час ума не станет, навек дураком прослывешь, – не раз говорил он потом на распросы и ругань. Вот только не объяснял, почему этого ума у него вдруг не достало.

И то сказать – в другой раз на год, а то и на два для воспоминаний были бы для него бегодня в райкомхоз за какими-то печатями и подписями, уговоры кладовщика, получение на складе продуктов и дрови (задним числом он не раз крестился, что порох посушили отпустить другим разом, а то бы наверняка «злонамеренное вредительство» припаяли). Раздобыли даже лошадь с телегой для подвозки на берег к карбасу отпущенного товара. А попробуй, раздобудь ее в сонном, словно вымершем в преддверии заходившей с гнилого угла грозы, поселке. Кто их тут знал? Кто бы согласился на привычные ему балагурные уговоры? А ведь раздобыли, и перевезли, и погрузили, причем не особо накладно для собственного небогатого кармана, так как толику казенных средств, отпущенных именно для этой надобности, старик тронуть так и не решился. Все ладилось, все получалось без особых задержек и сбоев, и Федор Анисимович даже не удивлялся этому невиданному в подобных случаях обстоятельству. И лишь потом-потом ненароком запала ему в голову непростая догадка, что происходило все это не в силу какого-то особого в тот день везения, а оттого, что, оглушенный случившимся в сторожке, он был на редкость неразговорчив, собран и даже как-то начальнически деловит. Возможно, именно это, незнакомое ему прежде состояние духа и вполне разумное поведение, внушало всем, кто имел с ним в этот день дело, уважение и доверие. А уж Степка, тот и вовсе ни на шаг от него не отходил, чуть ли не в рот заглядывал. Авторитет дяди Федора, у которого, если не брать в расчет полоумной старухи, все получалось и ладилось, в эти часы возрос для него неимоверно, и он готов был сломя голову нестись и незамедлительно выполнять любое его пожелание.

Прихватив в магазине для последующего в деревне разговору с мужиками еще одну бутылку, Федор Анисимович забрался в карбас и, взяв в руки длинное весло, велел Степану, ввиду вплотную подступавшего дождя, впрягаться в бечеву и поторопиться с болотистого, открытого всем ветрам поселкового берега, где ни укрыться, ни приткнуться, добраться хотя бы до желтевшей вдали косы, за которой река сворачивала к северу, берег ерошился крутыми песчаными обрывами, к самому краю которых сбегало с пологих сопok предтаежное мелко-

сье, которое и налетавший хлесткими порывами ветер утишит, и наскоро сварганенным шалашиком от дождя укроет, если небесные хляби разверзнутся не на шутку.

Под проливным дождем миновали они Сенькину косу и, промокшие до костей, решили присоседиться к старенькой, полувытащенной на берег, полузатопленной в реке баржонке, брошенной здесь догнывать еще в самом начале войны, по причине того, что плотников, способных продлить ее полезную людям жизнь, ввиду всеобщей мобилизации поблизости не оказалось.

Еще в райцентре, прикрыв от начинающегося дождя ящики и мешки с сахаром куском брезента и валявшимися на берегу огрызками досок, Федор Анисимович особо за их сохранность не беспокоился, тем более что дождь вроде поменел<sup>2</sup>. А вот ветер, переменившись, стал холоднее и тянул по речной долине с ровной, постепенно нарастающей силой. Деться от него было некуда, костра в такую мокреть не развести.

Быстро темнело. Пришлось устраиваться на ящиках под все тем же невеликим куском брезента и, лязгая зубами от холода, решать, как урвать у короткой летней ночи час-другой сна, без которого, ввиду нешуточной усталости (поднялись-то еще до рассвета) тронуться завтра в дальнейший путь будет затруднительно, а то и вовсе невозможно, так как сотрясающий каждого из них озноб грозил к рассветному времени обернуться полной нетрудоспособностью.

– Выход у нас, Степка, единственный. Либо зазнобиться до полного карачуна, либо народную смекалку без промедления применяем. На людях как велят, а здесь – как получится. Как спокон веков ведется, то и нас не минует. Понял?

Степка, с утра не жравший, еле наскреб сил покачать головой.

– Ну и дурак, – лязгая неплохо сохранившимися зубами, прохрипел Федор Анисимович и, достав неведомо откуда початую бутылку, сунул ее Степану.

– Пей сколько сможешь, а не сможешь, еще столько выхлебай.

Степан, лишь однажды в жизни попробовавший на поминках у Тельминовых оставшийся в стакане глоток самогона и сохранивший отчетливое воспоминание перехваченного дыхания и задушливого кашля, хотел было отказаться, но непререкаемый весь сегодняшний день авторитет дяди Феди и его серьезный приказной тон без особого труда справились с его вялым сопротивлением. С неожиданной для самого себя легкостью он сделал несколько торопливых глотков. Водка обожгла голодный желудок и согревающим теплом разлилась по всему телу. Стало легко и весело. Рядом, не торопясь, хотя и содрогаясь всем телом, допивал оставшееся дядя Федор, к которому Степан чувствовал сейчас еще большее уважение и доверие. Ни с одним человеком на свете не было бы ему сейчас так хорошо, никто бы не отыскал такой простой выход из того безвыходного, как ему недавно казалось, положения. Другой бы сам все выпил, а дядя Федор – ему первому...

– Умный человек, Степка, от дождя и под бороной ухоронится. Ты ушами не тряси, мало будет, еще добудем. Я как наперед глядел – работа у нас ответственная, пропадать права не имеем, жизнь наша переменная.

– Ты, дядя Федор, хороший, – заплетающимся языком сказал Степан и, спасаясь от потянувшего сбоку холода, придвинулся к старику вплотную. Тот растроганно шмыгнув носом, погладил Степана по мокрым волосам и задрожавшим от неожиданных слез голосом тихо сказал:

– Эх, Степан Ильич, душа твоя сиротная. Много ты в жизни хорошего-то видел? Был бы я хорош, разве она так со мной разговор вела? То-то и оно. Всем чертям по лаптям, а мне и онучки не досталось.

– Дура она! – убежденно заявил Степан.

– Это ты дурак, Степан Михалыч. И я вслед за тобой. Она, с одной стороны, конечно, несчастная. А с другой, может быть, даже святая.

---

<sup>2</sup> Уменьшился.

– Как это? – не понял Степан.

– Вот так. Держалась кобыла за оглобли, да упала. Понял?

– Не.

– Согрелся?

– Маленько.

– Ну, и я еще не до конца. Правильное она мне вразумление сделала. Не лезь с жалостью туда, где горе и беда. Помочь не сможешь, а душу разбередишь. Никогда, Степан Михалыч, не считай, что ты умнее и лучше. Сразу в последних дураках окажешься. Понял?

– Не знаю.

– Тогда давай еще маленько согреемся.

По брезенту снова хлестко забарабанил дождь. Ветер старательно ерошил темную реку. Она хлопала и плескалась о борта карбаса, ворочалась, натужно всхлипывала у невидимого берега и тяжело катилась в наползающую ночь, придавленная низким мокрым небом. Шелестело, словно задыхаясь, недалекое прибрежное мелколесье, тяжело бултыхалась черная вода внутри баржи. Не то жалостный крик какой-то ночной птицы, не то скрип упавшего от старости и непогоды дерева на том берегу спугнул на мгновение однообразие сырых окрестных звуков. Но ни Степан, ни Федор Анисимович ничего не слышали. Согретье обманным водочным теплом, они заснули мертвым усталым сном, не спохватились, не почували, что старый разошедшийся карбас ударяло ветром о борт догнивающей баржи, терло волнами о каменистый неровный берег, заливало непрекращающимся дождем. Уже давно хлопала на дне холодная вода, которая все прибывала и прибывала. К утру корма полузатопленного карбаса тяжело осела на дно, вода залила два мешка с сахаром и еще какую-то малозначащую дребедень, лежавшую тут же. А старик и мальчишка крепко спали на ящиках, укрытые брезентом, и не чували, не ведали, какая беда уже стряслась над их непутевыми головушками.

## Сон победителя

Спроси кто Перфильева, когда, болезненно сморщившись от не проходящей головной боли и острого недовольства собой, он выезжал со двора райсуда, – верит ли, что явится хоть какой-то прок от той встречи, которую твердо наметил себе, выслушивая обвинительный приговор, шепелявой скороговоркой зачитанный низеньким, лысым, удивительно похожим на старую остриженную овцу судьей, он вряд ли ответил что-либо вразумительное. Еще раз хлестнув двинувшуюся было ленивым шагом лошадь, он снова и снова пытался выстроить с помощью осторожной последовательности слов свои беспорядочные мысли о несоразмерности не только для провинившихся, но и для всех них последствий приговора с ценой загубленного по глупости провианта. Потерю, не так чтобы запросто, но и без особого материального надрыва для колхоза, можно было бы до начала охотничьего сезона как-то возместить. А от того, что уже случилось, теряли все, кого ни возьми – колхоз, государство, потерпевшие. И что хуже некуда – Надежда со своими девчонками мал мала меньше. У неё только и надежи было на Степана, своих сил и здоровья за войну поменело вчетверо. Да что там говорить! – не простил бы себе Перфильев, не решился на то, что наметил, хотя и предчувствовал полную безнадёгу своей затеи.

Остановив лошадь у высокого, давным-давно крашенного веселой зеленой краской забора, он долго сидел, не решаясь ни повернуть обратно, ни спрыгнуть на жесткую пыльную траву и, прихрамывая, двинуться к полуоткрытой калитке.

Первый секретарь райкома Виссарион Григорьевич Перетолчин, у дома которого остановился Перфильев, сидел за столом, из-за которого не так давно разошлись гости. Он нехотя прихлебывал остывший чай и исподлобья следил за женой, которая убирала посуду. Та старалась не поднимать головы и не смотреть на мужа, но он все-таки разглядел на ее глазах слезы.

– Интересное дело, – с притворным раздражением прохрипел он сорванным на одном из районных совещаний голосом. – Распустила нюни... Сейчас-то чего реветь?

– Худой-то какой – кожа да кости, – уже не таясь, всхлипнула жена и, оставив посуду, осторожно опустилась на стул рядом с мужем.

– Не с гулянки, с войны мужик... Радуйся, что кожа да кости целы, остальное дело наживное, выправится. Откормим на мирных хлебах.

– Какие тут у нас хлеба? – тихо, чуть не шепотом, не согласилась она.

– Какие б ни были, откормим.

– Он тебе ничего не говорил? – спросила жена и оглянулась на дверь в соседнюю комнату.

– Нет, а что? – насторожился Виссарион Григорьевич.

– Надолго он, нет?

– Что значит «надолго»? Навсегда. Раз демобилизовали, значит все. На мирные рельсы и бесповоротно.

– Да я не об том, – махнула она рукой и снова обеспокоенно оглянулась на дверь. – Смотрит на все, словно не узнает. Как в первый раз видит. Белье развешиваю, он подходит. Губы дрожат. «Ты чего?» – спрашиваю. «Никак, говорит, привыкнуть не могу». У меня прям сердце упало. «К чему, – спрашиваю, – не можешь?»

– Ну? – поторопил замолчавшую жену Виссарион Григорьевич.

– «К тишине, говорит, не могу. Мороз по коже, какая у вас тут тишина». – «Где же, – спрашиваю, – тишина? Петухи орут, собаки... Телок вон за огородом чей-то надрывается. Птицы, ветер, двери скрипят...» – «Это, говорит, так, это не существенно». Так и сказал «не существенно». – «На передовой тишина – страшное дело. Как тишина, значит, вот-вот...» А что «вот-вот», так и не сказал.

– Чего говорить, и так ясно. Долго ему еще будет казаться...

– Не останется он. Уедет.

– Не ерунди. Куда ехать? Сейчас таких-то, знаешь, сколько повозвернулось...

Но жена чувствовала, что он убеждает не столько ее, сколько самого себя. Да и то посулить, где у них в районе подыскать сейчас подходящее место молодому офицеру с кучей боевых орденов и боязнью местной, на сотни верст окрест таежной тишины? Место бы, конечно, нашлось, да вот устроит ли оно его, придется ли по плечу, по нутру, соразмерно ли будет науке командовать, стрелять, привыкать к смерти и крови? А что он еще может? На фронт отправили сразу после десятого класса. Какая-то нескольких месяцев лейтенантская школа и – в самое пекло.

Часто, особенно поначалу, обрывалось во сне сердце Виссариона Григорьевича. Просыпался чуть ли не в твердой уверенности, что вот в это самое мгновение убили или ранили тяжело, иначе не было бы этой через тысячи верст болью бьющей прямо в сердце догадки. Рядом неподвижно, не дыша, лежала жена, и он знал, что она тоже проснулась и лежит, парализованная ужасом разбудившего и ее предчувствия. И не заговорить, не пошевелиться, не пожаловаться на ноющую боль под сердцем, потому что и он, и она знали – любое слово обернется слезами, другими долгими, не облегчающими словами. И не будет тогда конца мертвой морозной ночи, из темной бескрайности которой к утру почтовой полуторкой объявятся в районе новые похоронки, заголятся, а то и замертво, без крика, упадут там, где стояли, новые вдовы и обеспамятевшие от горя матери, заплачут осиротевшие, часто без полного понимания случившегося, дети... Днем закручивала вереница дел, нужных и не нужных поездок, встреч с людьми, разговоров, ругани, отчетов. Порой, после особо ответственных звонков из области, а то и телеграмм, с суровой лаконичностью требующих невозможного от их почти никудышного по возможностям и людским ресурсам района, он с непонятным самому себе облегчением думал, что на этот раз не отвернется, свергнут наконец-то с его слабеющих плеч непосильную ношу – требовать, наказывать, выбивать и изображать неколебимую уверенность в героическом преодолении всех и всяческих препятствий на пути к неизбежной победе. И каждый раз, подъезжая к дому или хватая после оглушающего своей продолжительностью звонка тяжелую эбонитовую трубку, он до смертной жути боялся услышать страшную, ничем уже не поправимую новость. Сын был один, единственный, а дней в этой проклятой, никак не кончавшейся войне набралось тысячи. И чуть ли не каждый из них не единожды останавливал полубомбочным ожиданием и без того не так чтобы крепкое сердце. Сколько раз, никогда и никому не признаваясь, клял он свое малодушное согласие на руководство только что организованным в самом дальнем краю области районишкой. Можно, можно было отказаться, сославшись на пошатнувшееся в бесчисленных хозяйственных передрыгах последних предвоенных лет здоровье. Но он был почти уверен, что там, где на нем остановили выбор, прекрасно знали и о его здоровье, и даже о соблазнительном желании отказаться от малоподъемного и мало кому посильного груза, не сулившего, даже в случае благополучной доставки и сохранности, ни славы, ни мало-мальски ощутимой заметности в общем огромнейшем деле обороны и спасения первой в мире страны социализма. Пришлось впрягаться в недоделанную, на скорую руку сварганенную телегу и, надрываясь, тянуть по здешнему таежному бездорожью для невесты какой и неизвестно кому необходимой пользы.

Услышав осторожный стук в дверь, Перетолчин посмотрел на торопливо вытирающую слезы жену, тяжело поднялся. Подумалось, что телеграмма из области. А, скорее всего, леспромхозовцы паникуют. Из-за частых дождей вода из верховий дуром прет, вот-вот нижние склады затопит. Только кто бы знал, как не хотелось ему сейчас включиться в нуднейшую канитель показного негодования, беспокойства, разносов, никому не нужных советов. Поэтому, когда в ответ на приглашение войти, в комнату неловко протиснулся Перфильев, Виссарион Григорьевич глубоко с облегчением вздохнул и снова опустил на стул.

– Здравствуйте... – от неловкости громко поздоровался Перфильев, застыв на пороге. – Виссарион Григорьевич, там сказали, вы дома... Извиняйте, что не вовремя и без спросу, но больше, кроме вас, теперь и не знаю куда.

– Тш-ш-ш... – Перетолчин приложил к губам палец. – Давай сюда. Давай, давай... Садись. Аня, налей гостю... Спрос ему понадобился. Плохо, что поздно пришел. Давай вот... Выпей за нашу с Анной Филипповной радость – сын вернулся.

– Рад за вас, прямо не знаю как... – Перфильев дрожащей рукой принял стакан и держал у груди, не решаясь выпить. – У нас тоже так-то – ежели кто вернется, на всей деревне праздник. Только немного, товарищ первый секретарь, то есть Виссарион Григорьевич, немного их получается. Я имею в виду насчет полноценного и полного возвращения. Поменело мужиков, можно сказать, до невозможного для нормальной жизнедеятельности колхоза предела. По какому поводу и нахожусь здесь сейчас в неудобное для вас, конечно, время.

Он замолчал, испугавшись собственного, как ему показалось, неуместного в данном случае многословия, поднес было стакан ко рту, но посмотрев на неподвижных, глядящих друг на друга хозяев, вернул стакан в прежнее положение.

– Одному вроде как несподручно... Да и питок с меня после ранения никакой. От одного понюха в глазах круги и в голове беспокойство. Врачи советовали десять раз оглянуться, прежде чем за стаканом тянуться...

Перфильев уже наладился вернуть стакан на стол, когда очнувшийся от нахлынувшей задумчивости Перетолчин остановил его руку, поднялся и, полуобняв за костлявые плечи, тихо просипел: – Ты меня извини... Не могу поддержать, перебрал норму на радостях. Мотор-то уже ни к чертям за эти годы, врачи не хуже чем тебе грозятся. Так что давай, давай... Со ста граммов и кошка не захмелеет. Садись... И закуси обязательно, чтобы кругов не было. А после доложишь, что там у тебя.

Он подождал, пока председатель выпил водку, дожеввал первый кусок и, не справившись с нетерпением, сказал:

– Идем, похвалюсь. Мужика своего покажу...

На цыпочках подошел к двери в соседнюю комнату, заглянул, поманил пальцем Перфильева. Тот, стараясь не стучать тяжелыми сапогами, подошел, заглянул через плечо хозяина. На неразобранной высокой кровати спал сын Перетолчина – молодой светловолосый офицер. Сил у него хватило лишь на то, чтобы снять гимнастерку, сапоги уже потом сняла мать. Он обхватил руками большую подушку и, уткнувшись в нее лицом, тихо похрапывал.

– Устал, – еле слышно шепнул Перетолчин, не отводя от сына повлажневших глаз. – Шутка, столько отмахать. И все в крови, каждый день через смерть.

Он тихо прикрыл дверь, и они вернулись к столу.

– Честно признаться, не знаю, как и о чем говорить с ним, – вдруг неожиданно для себя признался хозяин и, глянув через плечо на встрепенувшуюся жену, продолжал, не дав ей встрять в свое, сейчас только ему принадлежавшее внезапное откровение. – Вдуматься хорошенько, повидал и пережил, хоть и мальчишка по годам, поболее нашего. Тебя не имею в виду, ты там тоже нахлебался до отрыжки. А в него-то как все это поместилось? А? Как ему теперь от этой, можно сказать, непосильной нагрузки избавиться? Он, понимаешь, все больше молчит. Смотрит мимо куда-то и молчит.

Жена, не удержавшись, всхлипнула и тут же испуганно замахала рукой – не обращайтесь, мол, внимания, сорвалось. А Николаю вдруг как-то сразу полегчало в его неудобной скованности, словно не в гостях у самого что ни на есть большого руководителя в районе, а у кого-то у своих, деревенских, с которыми и говорить и молчать привычно, и для подорванной на фронте психики необременительно.

– Устал, – уверенно сказал он, проглотив наконец застрявший было в горле кусок. – Я, как вернулся, тоже первым делом все больше спал. Бабы расспрашивают, а я ровно позабыл обо всем. Не могу говорить, хоть что со мной делай.

Немудренное признание председателя легло на душу хозяевам и, кажется, успокоило их. Анна Филипповна поднялась и, собрав грязную посуду, ушла на кухню.

– Дала она всем прикурить война эта, – с прежней откровенной доверительностью прохрипел Перетолчин, проводив взглядом жену. – Думаешь, я не устал? Другой раз кажется – лег бы, руки в стороны, год бы не поднимался. Как у нашей почтовой полуторки – все на соплях. Того и гляди – в кювет. А держисься. Тут только дай себе волю, никакой капитальный не поможет. Давай-ка лучше еще по сто и на боковую. Сегодня больше никуда. Могу за пять лет выходной себе устроить? – Перфильев после этих его слов испугался, что задуманного разговора не получится, стал было подниматься, но хозяин удержал: – Ты говори, говори, с чем пришел. Я ведь это так... Не обращай внимания. Своим никому не скажешь, жалеть начнут. А ты свой брат, тоже какое ни на есть начальство, поймешь... Нам помимо своего все остальное еще тащить надо. Хотя бы до завтрашнего дня, а там – как сложится...

Перфильев и вовсе растерялся от этой почти родственной и, по словам многих, совершенно не свойственной первому доверительности. «Видать, правда, перебрал чуток на радостях. А в таких случаях одни песни горланят, другим душу приоткрыть желательно, чтобы накопившиеся там за долгую молчанку переживания не давили бессловесной маетой и непониманием от тех, кто по соседству оказался». И тут же еще мелькнуло: «Может, все-таки посодействует под добрую руку?» А вот с чего начать, в голову никак не приходило.

– Ну, говори, говори, – подбодрил неуверенно поглядывавшего на него председателя Перетолчин.

– Дело такое... А с покоса когда теперь выберешься... – мялся Николай. И вдруг, как в воду кинулся: – Мужиков моих сегодня осудили.

– Это что сахар для потребиловки пропили? У меня, между прочим, серьезный разговор на эту тему с тобой намечен.

– Не пропили они, Виссарион Григорьевич, – встрепенулся и окреп голосом Перфильев. – Дожжь был, лодка дырявая, а они заснули по пьяному делу. Замочили они этот сахар, растворился... Не думал я, что так обернется.

– По-твоему выходит – не виноваты?

– Кто ж говорит... Виноватые, сукины сыны! Вот и надо было – пускай за убытки уплотят.

Хотел было добавить, что колхоз этому делу по возможности вспомоществование окажет, но вовремя спохватился – не получилось бы хуже. С трудом выдавил из себя совсем другое:

– Мы бы им на колхозном собрании по первое число начислили, мало не покажется. А так-то – кому польза? Может на кассацию? Поддержать?

– Сколько дали?

– Старику пять, Степке – парнишке еще – три.

Перетолчин поморщился и, как всегда, когда чувствовал свое бессилие и необходимость произносить не свои, а кем-то другим придуманные и якобы нужные для дела слова, незаметно для себя повысил голос:

– А ты чего хотел? Страна каждую копейку считает. Восстанавливаться надо, строиться... Голода еще хлебнем. А ты что думал? И голод будет. Слыхал, передают – засуха. Каждый грамм хлеба у нас с тобой нынче учтут. А они два мешка сахара чертям собачьим под хвост.

– Полтора.

– Полтора, какая разница. Чем охотников снабжать будешь? Больше ведь не выделят. Нету.

– Ну, посадят их, – не сдавался Перфильев, – польза кому? Кто в колхозе работать будет?

– Получается, что хочешь делай – пей, гуляй, преступления совершай, потом отмоешься или дядя добрый, вроде меня, поможет. Легко жить хочешь.

Голову Перфильева снова обручем сдавила отпустившая было привычная боль, и он, громко скрипнув стулом, откинулся назад, словно обрывая установившиеся согласие и понимание.

– Легкой жизнью корить у нас сейчас некого. А колхоз двоих добрых работников лишился. Без Федора в кузне я как без рук.

Он хотел еще добавить про Надежду и ее белоголовых девчонок, но, глянув на отвернувшегося в сторону и сгорбившегося секретаря, понял, что разговор можно считать законченным. Что бы он ни говорил теперь, всё по какому-то непонятному закону обернется против его задумки поискать подмогу у начальства, не хуже него связанного по рукам и ногам обязательствами поступать не так, как было бы проще и нужнее, а так, как кем-то решено и установлено для какой-то общей якобы пользы, от которой отдельному человеку – тому же Степке или его прозрачным от худобы сестренкам – никогда не отломится ни мало-мальски пригодного к употреблению приварка, ни даже осторожного сочувствия. Все эти мигом мелькнувшие и им самим толком не понятые и недодуманные до конца мысли оборвал хриплый усталый голос хозяина:

– Плохо ты их к дисциплине приучал. Мы еще с военного положения до конца не снятые, чтобы добренькими ко всем становиться. Захочешь – не дадут.

Ему явно не хотелось продолжать этот неприятный разговор, и своими последними словами он словно предложил Перфильеву перемирие, откровенно намекнув на то, что и от него, первого человека в районе, теперь уже ничего не зависит, так что не стоит впустую ни воросить, ни просить. Но председателю, который хотя и понял результат, все еще хотелось докопаться теперь уже не до своего конкретного, а до общего для всех них смысла. Он сделал вид, что не заметил протянутой руки, и, уставясь в пол, сказал:

– Моего учения, Виссарион Григорьевич, еще и года нету. Я ведь об чем? Легко мы к людям относимся, не пробросаться бы. Кого у нас в деревеньках наших пооставалось? Мужиков днем с огнем искать. Бабы до смертушки полной повымотались. Мы вот все – война, война... А здесь чего – не война? С кем я нынче хлеб убирать буду? Мужики, кто целый возвращается, подальше от такой жизни податься торопятся. А мы последних под корень. Кому польза-то? Кому, а?

Голос его постепенно набирал и набирал силу, и последний вопрос он почти выкрикнул, задыхнувшись от перехватившего горло волнения. Секретарь поднялся и тяжело навис над тоже дернувшимся подняться Перфильевым.

– Вон в какой узелок ты все завязал, председатель. Соломку подстилаешь. А я-то думал, ты и вправду мужиков пожалел. Сиди, сиди, понял я тебя, все понял. Только сразу учти, разговор у нас с тобой по поводу уборочной короткий будет. Не уберешь... все до зернышка не уберешь – билет на стол и под суд. Мы с тобой коммунисты – и нас с тобой еще никто не демобилизовал. Понял? И эти твои демобилизационные настроения буду считать как панику на передовой. А то, что фронтовик, герой – так с тебя и спрос вдвойне. Ясно разъяснил?

Перфильев наконец поднялся, распрямился и, не отводя глаз под тяжелым взглядом первого секретаря, тихо сказал:

– Ясней некуда.

В это время в дверях соседней комнаты показался взъерошенный со сна младший Перетолчин.

– Что за шум, а драки нету? Слышу сквозь сон – команду подают: не то стрелять, не то в атаку подниматься. Соскочил – понять ничего не могу...

Закаменевшее лицо Виссариона Григорьевича разом обмякло. Он опустил руку на плечо стоявшего к нему вплотную Перфильева. Глаза его сощурились, подобрели, губы задрожали от болезненной полуулыбки.

– У нас тут команды мирные – поди туда, сделай то. Вот когда не сделаешь, тогда война начинается. Но до этого не допустим, верно, председатель?

– Досыта навоевались, – поддержал хозяина Перфильев. – Вы уж извиняйте за беспокойство.

– На каком фронте? – кивнул молодой Перетолчин на ордена и медали гостя.

– Первый Белорусский. Пойду я...

– Давай, – с явным облегчением согласился хозяин и, провожая гостя к дверям, спросил: – Днями где будешь?

– Так на покосе. На Торее.

– Может заверну. Махнем вот с ним на рыбалку. Заодно и в делах твоих разберемся, если не возражаешь. Договорились?

Перфильев молча кивнул головой и вышел. Перетолчин повернулся к сыну. Тот сел за стол, вылил в стакан оставшуюся водку, посмотрел на отца, чокнулся с его пустым стаканом, запрокинув голову, выпил водку и, не закусывая, помотал, словно окончательно просыпаясь, головой.

## В некотором царстве...

Ранним утром четвертого после приговора дня Федор Анисимович и Степан двинулись в путь к далекой Тулунской пересылке, где их должны были определить на более основательный подневольный постой в местах уже вовсе им неведомых. Мужики, кто понаслышке, а кто наугад перебрали с десятков-другой известных сибирских пристанищ для провинившегося по подобным или близким статьям народа, но, запутавшись в предположениях и незнакомой географии, махнули рукой, успокаивая осужденных тем, что хрен редьки не слаще, и коли уж выпала такая напасть, то и за морем горох не под печку сеют, а двоим идти – не одному: и дорожка вместе, и табачок пополам. Впрочем, успокаивал самого себя и остальных все больше Федор Анисимович, большинство же сочувствующих, как мужского, так и женского полу, угрюмо отмалчивались и отводили глаза от не всегда впопад балагурящего старика.

Проводин особенных устраивать не стали, тянулись по одному, по двое, кто к Надежде, кто к избе живущего на отшибе Анисимовича. Бабы сварганили на часть неблизкого пути какой могли провиант, мужики сбросились для Анисимовича махрой, конюх притартал как раз по ноге Степки легкие, почти не ношенные ичиги, а председатель велел своему Саньке подбросить бедолаг на эмтэсовской полуторке аж до Сотниковского волока, за которым дорога упиралась в старую гать, на которую не то что машину или трактор, лошадь десять раз подумавши загнишь, но по которой намного короче до Старой Романовки, а оттуда бережком да бережком до следующего колхоза, который уже и вовсе на самой окраине района. А дальше? Дальше уже самим мороковать, как и куда продвигаться с оглядкой на всяческие могущие возникнуть непредвиденности.

Степан, на людях крепившийся и лишь кусавший губы при плаче и упреках матери, в кузове дернувшейся полуторки, услышав прощальный ее не то крик, не то плач, заносимый клубами черной пыли, в голос заревел, уткнувшись лицом в тяжелый сидор. И поскольку рядом никого не было – Анисимович, якобы по старости, а больше из форса перед немногими провожающими, забрался в кабину – проревел почти всю дорогу, пугаясь неведомых ему раньше тоски и страха перед будущей жизнью. Он догадывался, что не достанется теперь ему ни поблажки, ни ласкового слова, ни сладкого куска, ни жалости, если случится какая неудобка или больно и несправедливо хлестнет очередная людская несправедливость.

Дорога поначалу тянулась берегом Илима, успокаивая привычным видом далеко и удобно для глаза распахнутой речной долины с мягкой свежей зеленью островов, буйной порослью прибрежного разнотравья, густо сдобренного желтизной и синью рванувшихся в рост летних цветов. А уж клинья, квадраты, узкие полосы, реже – широкие, в размах разбеги полей, врезающихся до подножия, а то и по пояс сопок, и вовсе слепили ярчайшей зеленью дружных всходов, слегка оглаживаемых теплым солнечным ветерком и вздрагивающих, разом подающихся по движению этого ласкового поглаживания. Это дружное шевеление чуть заметно меняло цвет зелени, и в голове от подобной почти невидимой перемены зарождалось желание смотреть и смотреть, не отрываясь, окрест. И еще, пьянея от простора и движения, хотелось не то запеть, не то просто закричать нечто радостное и самому себе непонятное. Но Степка опухшими от слез глазами почти ничего не видел, а Анисимович, как только скрылись избы деревни, разом сникший и ссутулившийся, глядел лишь на пыльный капот и ветровое в трещинах стекло. И лишь Санька, все еще не привыкший к своей полной власти над взывающей и стучавшей всеми своими изношенными до нельзя суставами машиной, готов был и петь, и кричать, и гнать без остановки хоть на край света по разбитой, в колдобинах и непросохших лужах дороге. И только искреннее сочувствие к незавидной участи своих пассажиров удерживало его от беспричинной радостной улыбки и вертевших на языке вопросов.

Потом дорога отвернула от реки и круто всползла на невысокий приступок перевальной гривки, за которой пьяно завихляла по болотистой долине неширокой прозрачной Коченги, в дальних верховьях которой веером разбегались лучшие ухажья охотников с их деревни. Машина почти задохнулась на этом достаточно серьезном для нее препятствии, и если бы Санька хоть на секунду промедлил с переключением скорости, непременно покатила бы назад, и один леший знает, как скоро удалось бы ее оживить для последующего продвижения.

До гати с грехом пополам добрались лишь к третьему часу пополудни. Санька лихо тормознул впритык к огромной луже, подождал неспешной высадки своих пассажиров и, стараясь не глядеть в опухшее от слез лицо Степана, пожелал уходящим всяких благ и легкой дороги. Но тут же, сообразив, что своим пожеланием удружил бедолагам крупной солью на покарбанное до крови место, покраснел и, засуетясь глазами по верхушкам окрестных елок, вдруг рывком обнял Степку и, хлопнув его несколько раз ладонью по спине, так, что пыль от старенькой телогрейки серым дымком окутала ладонь, тихо сказал:

– Ты это... Я тете Надежде и дров помогу, и другое что... Не сомневайся даже. – И громче, чтобы слышал Анисимович, добавил, на свой лад переиначив недавно услышанные от отца слова: – Говорят, там за ударный труд срок вдвое идет. Так что не задерживайтесь. И так колхозные кадры, как на погарье пеньки, а без мужиков, как бы нас вовсе не прикрыли за ненадобностью. Так что ожидать будем, как вьюрки лета. Здесь и встречу, если знать заранее дадите.

Он долго крутил заводную ручку машины, с трудом, чуть не застряв на болотистой обочине, развернулся и, наконец, уехал, помахав от поворота рукой, а Степан с Федором Анисимовичем все еще стояли перед лужей, обманывая самих себя ожиданием окончательного исчезновения из виду последней ниточки, связывающей их с домом.

– Была привычка, а теперь водичка, – по обыкновению вроде бы ни к селу, ни к городу, – сказал старик и добавил: – Купили дуду на свою беду, теперя назад не повернешь. Пошкандыбаем, Степушка, пешком да тишком. Нам бы затемно до Старой Романовки поспеть, все не на голой земле кочуриться. Она хоть и летняя, а мокрая еще опосля дождей. Ноги вязнут...

И неторопливо побрел по обочине, обходя лужу.

На прогнившей гати, несмотря на солнечный день, было сумрачно, тихо и душно. Надсадно гнусили комары и мошка, ноги то и дело соскальзывали с мокрых бревен, и скоро Степану стало казаться, что вся их дальнейшая дорога такой и будет – трудной, долгой и страшной. И куда она в конце концов приведет, не хотелось думать, как не хотят люди думать о смерти. Знаешь, что никуда от нее не денешься, а думать не хочется, вдруг обойдется.

До Романовки добрались почти затемно. По заросшей травой улице Анисимович уверенно направился к одной из самых больших изб, слепо тарасившейся на дотлевающий закат темными провалами окон. От ворот остались лишь полуторасаженные, огромной толщины и, видимо, немислимой тяжести листовые верей, перед которыми Степка даже застрял ненадолго в недоумении, каким это образом в стародавние, по его разумению, времена, безо всяких там машин и тракторов, сумели неведомые хозяева этого подворья срубить, вытесать, доставить и установить до сих покоящиеся ровнехонько эдакие махины? А затем и следующая мыслишка объявилась – какая надобность была пластаться вусмерть для такого не позарез необходимого дела, как невероятной тяжести ворота в дальней таежной деревеньке, в местах, где до сих пор и двери-то не запирали толком, разве только при многодневном отсутствии по какой-нибудь неотложной надобности?

Федор Анисимович, с трудом пробираясь через заросли репейника, крапивы и полыни, наглухо заплонивших пространство обширного двора вплоть до высокого с резными балясинами крыльца, что-то негромко бормотал себе под нос, раздвигая, подминая и утаптывая вредную траву. Добравшись до крыльца, он, к изумлению Степана, низко поклонился приоткрытой в темноту сеней двери и лишь потом осторожно, боком протиснулся внутрь. Там его долго не

было слышно, и Степан, неожиданно чего-то испугавшись, хотел уже было его окликнуть, но тот вдруг сам высунулся в боковое окно.

– Хозяин согласный на ночь нам ночлег предоставить. Плата невеликая: набирай дровишек, какие, пока еще видать, отыщешь, да заходи аккуратнo. Это дома как хочу, а в людях – как велят.

Когда Степан с большой охапкой сухих дров, которые раздобыл под навесом полуразвалившейся стайки, неловко, на ощупь миновал темные, резко пахнувшие пылью, мышами и еще чем-то неприятно подгнившим сени и, потянув на себя тяжело скрипнувшую тяжелую дверь, вошел в избу, Федор Анисимович уже неизвестно как и из чего сообразил в большой, чуть ли не в треть прихожей, печке веселый, торопливый огонек и, присев перед ним на корточки, замороженно смотрел на трепетавшее в черном зеве пламя.

– Оно, конечно, топи не топи, а с огоньком весельше, – пробормотал он, не поворачиваясь к Степану. – Потом на печь заберемся. Опять же, хоть и сквозняк наскрозь, зато крыша над головой. Под ноги, под ноги гляди! – вдруг спохватился он на движение Степана.

Окрик прозвучал вовремя. Половина плах пола была повыврочена и, видать, давно уже приспособлена к делу неведомыми разорителями. Рамы из окон тоже были повыдраны. На первый, еще не привыкший к нежилой полутьме взгляд, только и оставались нетронутыми в покалеченной избе печь, да намертво, приступком вмазанная в нее широкая скамья. С трудом добравшись до старика, Степан скинул дрова и устало опустился на скамью. В скособоченном четырехугольнике ближнего окна медленно погасала северная сторона неба. Неподалеку чернела еще одна мертвая изба. За ней едва угадывался разросшийся березняк, дальше – провал реки. Такой пустотой, тишиной и заброшенностью повеяло на него от этих едва различимых окрестностей, что он невольно поежился и торопливо перевел взгляд на огонь, который уже вовсю тербил подброшенные Федором Анисимовичем березовые поленья.

– Главное дело – не дымит, – окрепшим голосом отозвался старик на загудевшее в печи пламя. – Сколь годков без присмотра, а не дымит. Ладное сооружение... Думаешь, чего я в эту избу наладился на ночевку?

– Поглянулась, наверное, – нехотя буркнул Степан.

– Поглянулась... – передразнил его старик. – А с каких таких делов поглянулась? Не у каждого жена Марья, а кому бог даст. Понял?

– Не.

– Где тебе малохольному. А ну как дождь пойдет?

– Не пойдет.

– Глянь, какие уголья на закате. Как есть наладится. Вот и захрундучишь после первой ночевки. А тут – живи не хочу. Ты, Михальч, вот что... Кончай «хозяину» свою печаль выказывать, а то осерчает, сна не даст.

– Какому «хозяину»? – непонятливо глянул Степан.

– Такому... – с явной неохотой отозвался Федор Анисимович, оглянувшись на темный угол запечья. – Не бывает, чтобы совсем без «хозяина». Хотя бы и по нынешним временам. Бери давай котелушку мою, да за водой сгоношись. Сразу не спохватились сообразить, теперь стараться надо. Чайку с шипишником похлебаем, все весельше и брюху теплее.

Степан отвязал от котомки котелок и в нерешительности замер, оглянувшись на вовсе замутившееся темнотой пространство в провале окна.

– Ты чего?

– Может, так... без чаю?

– Эх, жизнь переменная! Тебе чего, ног жалко?

– Боязно, – не сразу признался Степан.

– Вона, дитя малое. Кого бояться-то? Ладно бы тайга была, так еще бы оглянулся. А тута чего тебе? Дуй давай, дуй. Не того еще наглядимся, чтобы пустого места бояться. Через огороды напрямки рукой подать.

После бесцветного и тоскливого запаха заброшенной избы, в которой, несмотря на всю поухавший в печи огонь, еще не очнулся жилой дух тепла и человеческого присутствия, во дворе Степана шибануло пряным запахом вечерних трав и влажной свежестью недалекой реки. С трудом продравшись сквозь буйную траву бывшего огорода, он перемахнул через полусгнившее прясло и почти тут же сорвался и заскользил под крутой откос заросшей промоины. Пересохший весенний ручей, обогнув супротивный огородам березняк, в этом месте напрямую прорывался к реке, и будь дело светлым днем или в ранее знакомом Степану месте, ничего не стоило бы напрямки, по уже засыревшим зарослям ежевики и крапивы, через десяток-другой шагов добраться до реки. Но испуганный неожиданным падением и непроглядностью обступившей его сырой неподвижной темени, Степан стал остервенело вскарабкиваться по противоположному от места его падения глинистому откосу. Обжигая крапивой руки и едва не потеряв в темноте котелок, он выбрался на какой-то небольшой бугор и, с трудом переведя дух, огляделся. Еще не погасшие в темноте стволы берез, постепенно пропадавшие в отдаленном мраке, обозначили показавшееся ему безопасным пространство. Испуганный крик и торопливый плеск крыльев какой-то птицы, сорвавшейся с ближних кустов, неожиданно успокоил Степана, и он, уже не торопясь, сторожко вглядываясь под ноги, пошел в сторону реки. И когда та засветилась впереди зеленовато-серой полосой отраженного неба, кто-то негромко и явственно, до отчетливого придыха на конце слов, позвал его:

– Степан, а Степан... Идти-то еще далеко-о-о...

Не понял Степан – мужской ли, женский был голос. Такое бывает во сне или когда поблазится: вроде слышишь, даже повторить готов слово в слово, а что, как, с чего бы это? – спохватившись, не образумишься, не разберешь толком. Степану сначала показалось, что голос вроде материн – та точь в точь также тянула: «Дале-еко-о-о...» Но поняв, что матери взяться неоткуда, и не сообразив, что чудной зов мог ему показаться, он, похолодев спиной и затылком, попятился было на разом ослабевших ногах в сторону белеющих стволов. Но именно среди них краем глаза уловил шевеление чего-то призрачно-белесого, соразмерного не очень высокому человеческому росту. И тогда, не пытаясь ни вглядываться, ни разбираться, ни даже головы повернуть, опрометью кинулся к спасительному просвету реки, чуть не кубарем скатился с подмытого половодьем берега. Загремела под сапогами прибрежная галька... Заскочив чуть ли не по пояс в воду, что было сил заорал, срывая от натуги голос:

– Дя-я-дя-я-я Фёо-одор! Фёо-о-одор Анисымыч! А-а-а-а!

Эхо протяжно и далеко покатило по реке, по неразличимому заречному не то ернику, не то полужью, вызвало ответные тревожные всплески где-то на самом стрежне, шорохи и невнятное шевеление в темноте тутошнего, с каждой секундой все более таинственного и страшного берега.

– Чего гомишь, как кобелина дураковатый? – вроде бы совсем неподалеку отозвался встревоженный голос старика. – Тебе чего в голову-то попало? Ты игде, чудо стоеросовое?

Голос старика приближался, и скорый треск кустов ежевичника, шорох шагов подсказал Степану, что до избы отсюда едва ли сотню метров насчитаешь, ежели по прямой мерить. Это от темноты и неизвестности места показались они ему хрен знает за какую несусветную отдаленность от топившейся печки.

Сутуловатая фигура Федора Анисимовича обозначилась впритык к самой кромке ласково всплеснувшей воды. Степан молча побрел навстречу, отчаянно стыдясь своего испуга, мокрых штанов и понапрасну поднятой тревоги.

– Щучину что ль заловил? Али таймешка? Тебя чего в воду-то понесло? У берега зачерпнуть не мог? Ну? Чего было-то? Чего горло драл, племенничек? «Дядя Федор, дядя Федор».

Я седьмой десяток Федор, а в тюрьму с таким охламоном в первый раз подаюсь. Тебе чего поблазилось?

– Позвал кто-то... – через силу признался Степан.

– Эва, позвал... С этого что ль в воду сигать? А как бы в ямину угадал? Нас с тобой еще столь разов звать будут, считать устанешь. Кто позвал-то?

– А я знаю.

– Голос чей был?

– Не разобрать. Ясно так... Рядом... вон там...

– Об чем звал?

– Не об чем... Просто так. Идти, говорит, далеко...

– Ясное дело, не близко. А еще чего?

– Ничего.

– Хозяин это, – поразмышляв немного, решил старик. – Пожалел тебя немудрящего.

– Какой хозяин? Тут же нет никого.

– Кому нету, а кому отыщется. Я тебе еще не такую штуку расскажу про эти дела. Очень даже запросто. Помнишь Кашкариху? Ну, бабушка в Еловке жила, у нас тоже всех лечила, кто соглашался. Петьку Кошкарева знаешь? Петра Егорыча? Так она его мать, Шурка. Кошкариха. Она со мной одного году, только как-то уж постарела здорово. Все ее «бабушка» да «бабушка»...

Федор Анисимович забрал у Степана котелок и быстро, словно не в темень, а при свете дня направился к избе, в окне которой Степан вдруг отчетливо разглядел красноватые отблески огня топившейся печи и подивился, почему не разглядел их раньше. Теперь, когда не стоило пугаться и оглядываться, все вокруг стало различимо и вполне обыденно. А небо, как-то разом очистившееся от вечерней хмари и сползшей куда-то закатной облачности, просветлело и засветило первыми низкими и яркими звездами.

Мигом добрались до избы, придвинули к огню котелок, устроились поудобнее на скамье, и старик продолжил свой рассказ.

– Зубы там, спину, разную бабью холеру хорошо лечила. Кошкариха-то. То ли заговаривала, то ли траву пить какую давала – сам не видал, не скажу. Но хорошо лечила. До войны еще это было. Яшка Шурмин покойный – под Москвой его танком, сказывают, убило... Так вот, заболел он и заболел, разогнуться не может. Еле приполз ко мне, просит: «Сгоняй до Кошкарихи, может, вылечит». Мне чего – я тогда еще шустрый был – прихожу к ей, а она говорит: «Не, не пойду». – «Да ты чего, Александра Андриановна? Ты чего? Мужик в узел завязался, ходить не может». – «Не пойду, боюсь». Тут уж девки ейные уговаривать стали: «Да ты чего? Это ж Федор! Его что ль боишься?» Не сразу, правда, но сговорили, отправились. Так она мне потом и рассказала, какой случай с ней приключился. Приходит к ней днями Николай Прокудин и зовет: «Пойдем, у меня старуха заболела». Как ни смотри – Николай и Николай, ни малейшего даже сомнения. Иду, сказывает, с ним, разговариваю. А дело тоже опосля заката получилось. Вот идем, говорит, и идем, идем и идем. Да долго так идем. А Прокудин и жил-то всего ничего от ей. В Чупровской избе жил – да ты знаешь – где сейчас Душечкин живет, тут он и жил. Так вот, говорит, идем и идем. «Господи, – это она говорит, Кошкариха, – это сколько ж идти еще!» Только сказала – не стало никого. Я, говорит, смотрю, оказался в воде стою. Он ее на Косой брод увел.

– Прокудин?

– Сам ты... В воду, значит, завел её до пояса и скрылся.

– Кто завел-то?

– Кто, кто? – дед Никто. Я чего имею в виду? Всякая небылица когда-нибудь пригодится.

Закипает никак?

Попили чаю, подбросили в печь оставшиеся дрова.

– Пуста изба, да печь тепла. Будем, паря, на ночевку устраиваться. Ты здесь, на ленивке, в аккурат тебе по росту. А я на лежанку подамся. Жар костей не ломит. Может, больше и не придется так-то с удобством располагаться. Знал бы хозяин, для каких надобностей его рукоделие потребуется, чем дело кончится, миллион бы разов подумал, под какой князек дом городить.

– Сам говорил, они все наперед знают, – удивился заклевавший было носом Степан.

– Кто? – не понял старик.

– Ну, этот... «хозяин».

Пока пили чай, Федор Анисимович чуть ли не десяток быличек нарасказывал про проделки здешних домовых и леших, называя и тех и других то «хозяином», то «соседкой». Степан, еще не отошедший от недавних переживаний во время своего хождения по воду, слушал с интересом, не забывая, впрочем, недоверчиво хмыкать и конфузливо улыбаться невероятным и загадочным происшествиям, случавшимся с родными и близкими знакомыми рассказчика. Кое-кого из пострадавших от нечистой силы он знал, но до сих пор даже не подозревал об этой неведомой ему стороне их жизни. Мать ни о чем подобном сроду не рассказывала, видать, не хотела пугать девчонок, со сверстниками разговоры велись все больше про войну, про работу да про жратву. А те немногие сказки, которые он прочитал или слышал в школе, были так не похожи на рассказы Федора Анисимовича, переполненные знакомыми именами и местами, что Степан поневоле пребывал в полной растерянности, веря и не веря рассказанному.

– Так то «хозяин». А здесь про другого разговор. Который вот в этом самом месте, в котором мы с тобой находимся, можно сказать, существовал со всем своим бывшим семейством.

– Как это? – не понял Степан.

– Каков строитель, такова и обитель. Это хоть тебе понятно, горе луковое? И носом не швыркай, обижаться будешь, когда все позабудешь. А когда на пустом месте начинать, лучше в охотку все запоминать. Понял, нет? Лучше найдешь – забудешь, хуже отыщешь – вспомнешь.

Стараясь не оступиться в темноте бывшей кути, Федор Анисимович осторожно забрался на начавшую согреваться лежанку и, пристроив под голову охапку еще при свете сорванной травы, с облегчением вытянулся, расслабляя изрядно подуставшие за день ноги. Степан, не отрываясь взглядом от тлеющих в загнетке углей, сгорбившись сидел на лавке и нехотя вслушивался в неторопливый рассказ старика.

– Раньше присказка была – паши не лениво, проживешь счастливо. Только, видать, в одно время одни прикидки, а в другое – сплошные убытки. Уж на что Лександр жиловатый был, а и его не хватило на такую жизнь переменную. Можно считать, омманула она его полностью и бесповоротно.

– Какой Лександр?

– Рогов Лександр. Изба-то эта роговская. И еще ихних роговских пять домов здесь находилось. Старика самого там, где мангазина стояла. Брательник его, Евдоким Егорыч – тоже не простого заводу мужчина, – можно считать, по соседству построился. Сыны, когда поотделились, понятное дело, поблизости. Сам-то Лександр поначалу со стариком проживал, пока его на войну не мобилизовали. На ту ещё войну, с германцем.

– С фрицами?

– С германцем. А там он первым делом вскорости в плен попал. Парень был боевой, драться до ужаси любил. На любой вечерке всегда драку открывал. Вот и подвалило ему. В самую, как он рассказывал, в Австрию заманулился.

– Какой боевой, если в плен?

– А в плен боевые и попадают. Потому как поперед заводилы в самую гущину лезут. Этот тоже такой-то, всю жизнь ему не сиделось. Там его и приложило. Не то бомбой какой, не то с пулемету.

– Ранило?

– Приложило. Он когда вернулся, все на леву ногу припадал. Это потом уж проходить стало... Не знаю, чего он там в плену нагяделся, только, видать, не совсем по-нашенски там жизнь поставлена. Первым делом, как только до дому добрался, старику своему говорит: «Давай, тятя, десятилинейную лампу купим». – «Что за лампа такая?» А на то время в деревне и стекла-то по-хорошему не знали. У кого в окне бычий пузырь, кто посправнее – слюда. Светили все лучиной больше. Старик – отец Александра, в тот год как раз оклемался маленько, справился с беднотой своею. Они с Евдокимом и сыном его взяли на пять лет в аренду невод. Веришь-нет – по триста ушатов за одну тонь добывали. Рыба, понятное дело всякая, но больше сорога шла.

– Ушат – это сколько?

– Да ведра четыре, не совру, наберется. По пять копеек пуд продавали. На третий год полностью на ноги поднялись. А тут и Александр объявляется. Тоже вроде при деньгах. Ну, угорил, купили лампу. Как зажгли ее – вся деревня сбежалась. Понятное дело – слепой курице все пшеница. А Александр дальше наставляет: «Давай, тятя, выпишем сеялку семирядную». Тот уперся – ни в какую. Ладно, разделили, значит, деньги, Александр сеялку покупает. Когда посевная пошла, старик заявляется смотреть. Смотрит на это дело и ругается почему свет стоит: «Ты кого получишь? Ты семян-то меньше меня посеял...» Он-то вручную сеял. А как взошло, бегит к нему: «Давай жить вместе. У тебя посева куда лучше». Так и пошло. Александр говорит: «Давай веялку купим?» Выписали веялку. Старик прям влюбился в нее, давай сам крутить. Пять мешков другим, а один себе, за работу – он же ее крутит рукой, не мотором. Хошь вей, хошь не вей... Потом Александр на сходке говорит: «Давайте, мужики, сепаратор приобретать. В ём сметана отдельно, молоко в другую сторону». Его на смех, а старик снова от него отделился. А когда тот по новой свое доказал, кричит: «Половину плачу, сам кручу...» Хоромину вот эту за одну осень, считай, поставили. Чего не поставить? Их, Роговых, на этом краю сколь уже проживало. Колхоз не колхоз, а сила не маломощная, поскольку родственная. Не чужое – свое.

Федор Анисимович неожиданно замолчал и долго не продолжал рассказа. Завозился в темноте, закряхтел болезненно, с нарочитой протяжностью зевнул.

– Их на войне поубивало, да? – осторожно, словно опасаясь согласного ответа, спросил Степан.

– Кого? – притворился старик.

– Ну, их... Роговых этих. Раз никого не осталось.

– Насчет всех говорить не буду, подробностей в наличии не имеется. Кого и на войне, поскольку у большинства, если не считать стариков, баб и детишков, возраст вполне подходящий получался. А ежели об Александре продолжение делать, то ему и войны никакой не потребовалось.

– Чего тогда?

– Чего, чего... – голос рассказчика явственно посуровел. – Чего бог не найдет, того и человек не понесет. Шел бы и дале, кабы дали.

– Кто? – не понял Степан.

– Кто «кто»?

– Кто не дал-то?

– Кто не дал, тот и взял, – невразумительно пробормотал старик и, прислушавшись к тревожному шевелению приبلудного полночного ветерка в заросшем палисаде, решил, что парню теперь так и так придется постигать, что было, что есть и что будет. А лучшего примера, чем чужие несчастья и нескладности жизни, особенно, если случились они вокруг да около, и придумывать не надо. «Сообразит, что к чему – умнее будет, а не ляжет сразу на душу, может, потом когда вспомнит, когда срок придет». Какой такой срок, старик не додумал.

– Раскулачили их, как время подошло...

Не справившись с волнением, Федор Анисимович приподнялся, потом и вовсе сел, обхватив колени руками, отчего голос его стал каким-то сдавленным, не похожим на его обычный торопливый тенорок.

– Отправили зимой на Боярскую, на хребет. А чтобы не разбежались, милиция охраняла. Мерзли они там, как мухи, – много зимой разработаешь? Кто в землянке, кто в балагане спасались. Так разве от нашего морозу в них упасешься? Ночь-другую пересидишь, а тут всю зиму полностью. Да еще с детишками... У Ваньки Евдокимовского с двенадцати человечков семеро разом померли.

– Зачем? – еле слышно спросил Степан.

То ли от загулявших по избе сквозняков, то ли от представившейся картины: в рядок – мал мала меньше – лежат на снегу мертвые ребятишки, ему вдруг стало холодно и неудобно, хоть лезь к старику на печь спасаться от заколотившего озноба.

– Чего «зачем»? – не сразу отозвался тот, и Степан догадался, что старик пожалел о заведенном разговоре и теперь рад бы перевести на другое. Только он ему не позволит отвернуть, пусть сказывает все в точности, как было.

– Зачем их так?

– А я знаю? – вдруг почти закричал тот и, не переводя духу, заговорил быстро и отчетливо, не путая и не подбирая слов, словно не раз и не два рассказывал об этом кому-то. Но Степан снова чутьем угадал, что говорил о таком Федор Анисимович вслух впервые в жизни и никогда никому больше не расскажет. И ему бы не рассказал, если бы не выкорчевали их обоих из привычной жизни и не зашвырнули бы в эту мертвую деревню, да еще в эту самую избу, из которой так страшно и неожиданно вырвали с корнями ее хозяев.

– Лекандр-то свою Катерину с Санькой и Веркой в нашу деревню к ее родне заране отвез, вроде как отказался. Она-то вовсе с гольтбы была. Предчувствовал значит. Тем и спас. А сам, как начали там, на Боярской, гибнуть вповалку, в бега подался. Ему у Сухой засаду устроили, знали уже, что кроме как сюда – некуда. У него, по слухам, 500 рублей золотом здесь закопано было. Ну и понужнули, как с тайги вышел.

– Убили?

– Ушел. Все, что надо было, ночью исделал и ушел.

– Куда?

– Так кто ж его знает? Сгинул. Как и не было мужика. Таких мужиков сейчас поискать. Последних, кто оставался, на войне извели. Чего теперь говорить. Не всяк прут по закону гнут. Катерина с детенками тоже бы сгинула – куда ей деваться, – хорошо, Николай спас.

– Какой Николай?

– Так наш, Перфильев. Председатель нынешний. С курсов каких-то возвратился и взял за себя безо всякого там. Разговоров, конечное дело, кумушкам нашим – воз с приладой, да только в такое время много брехать – себе в убыток. А ежели поглубже копнуть, так у Катерины с Николаем еще до того вроде сговору было. За Сашку Рогова пошла по родительскому наказу. Кто их там сейчас разберет. Лекандр тоже не шилом делатый. За задни ноги лошадь держал. Тут с ним никто тягаться не брался. Тоже в председатели выйти мог. А то и выше бери.

– Так Санька его что ль?

– Чей еще... Верка ихняя – да ты знаешь – в сорок первом померла, застудилась. А Санька в отца вымахал. Ты да он у нас под самую стреху темечком достают. Ты-то в деда своего, а он в отца. Хотя Николай ему тоже не хуже родного. Может, в чем и лучше. Мужик он, будем говорить, справедливый, да только нынче не на всяку указявку угодишь. Кому ничего, а ему больше того. Так что не сплошь справедливый, а когда удастся.

– А остальные? Которые здесь жили...

– Остальные-то... Сам видишь. Жили да сплыли. Анна Рудых да Шуровы последние держались. Анна померла, Шуровы в район подались. Какая здесь корысть? Не хуже, чем на погосте – тишина да кости. Был бог, да и тот не помог. Лучше я тебе, Ильич, на добрый засып другу байку расскажу. Это дело еще до революции случилось. В некотором царстве, неком государстве... Сказ будет, как здешние романята разбогатеть решили, золотишко добывать подались.

Старик, видать, спохватился и теперь решил заговорить зубы первой пришедшей на ум байкой «про каку-то прошлую несусветь». Но забота его была не столько о Степке, которого по его разумению вряд ли могла зацепить за живое оборвавшаяся невесть где жизнь неведомого ему Александра Рогова, сколько о самом себе, поскольку от нахлынувших воспоминаний где-то под самым сердцем потянуло острым холодком проклюнувшейся боли, а голову, особо если прикрыть глаза, вело томительным медленным кружением, от которого все начинало проваливаться в бездонную пустоту, терять очертания и смысл. И хотя он снова улегся и заговорил своей привычной бодрой скороговоркой, иногда даже прихихикивал, и байка была занятная, даже смешная, но словно был выдернут какой-то опорный стерженек – слова рассыпались и не складывались в нужный для постороннего вразумительный смысл. Словно в похмельном сне бил и бил он молотом по раскаленному куску железа, а тот все никак не формировался хоть во что-нибудь пригодное по хозяйству, так и оставался глупым куском железа, из которого могло получиться что угодно, но так ничего и не получилось, кроме рассыпающихся во все стороны искр и глухих надсадных ударов, от которых закладывало уши.

– Про Романовских раньше слава шла – прокуты известные. До самого Илимска их опасались. Как где чего приключится закомуристой, первым делом на них – романовские, и никто другой. А тут один... Тоже романовский... Вот забыл, и все, из которых – на Бодайбинских приисках побывал. Поглядел там, что и как, выучился, видать, маленько, а когда возвратился – куда там, все на свете знат, только подавай. Ну и отыскал вроде здесь породу, на Турышке в верхах... Вспомнил – Ефрем Худых! Точно! Увидел породу, покопался маленько для показу, сообщает мужикам: «Золото близко!» Пошли к Абрашке. Тут у них Абрашка Гаускин поселился напротив, еврей. Его так и звали «Абрашка-жид». У знаменитого купца Чернова приказчиком был. Мужики, значит, к нему – капитал-то начальный на то, на другое требуется. Он им: «Платить не буду. Найдете золото – оплачу!» Ладно. Собралось мужиков десять вместе с лошадьми. Избу на Турышке срубили – она там до сих пор. Кирки, тачки лежат, погнило все. Под Ковригой – сопочка там такая – шурф пробили. Так его Турышка разом затопила. До сих пор в этом шурфе вода крутится. А золота в тех местах сроду не было. Чего делать? Решили мужики охотиться. Ухожье обозначили. Только белки в тот год не уродилось. По 10–15 убили – ребятишек только смешить. А пить-то, воротясь, надо? С приисков же пришли. Лежат, значит, в той избе, рассуждают: «Чего бабам принесем?» Ефрем – он же вроде как виноватый – объявляет: «У меня на заимке черный кот имеется. Стрелим его, ссадим и сдадим Гаускину». Договорились. Убили кота, ссадили на правилке, все честь по чести.

– А зачем? – заинтересовался Степан.

– Ты слушай. Главное, славу принести, что соболя добыли. Тимофей Степанович лучший охотник, кому как не ему добыть. Слава – это главное. Гаускин-то все равно интересоваться будет, что и как. Стали мужики белку сдавать и хвалят Тимофея Степановича... Ладно. Приходит с тайги Тимофей Степанович, ложится на топчан, а Гаускин уже бежит, чтобы другой купец не перехватил. «Чего добыл?» – «Бог дал, соболишку добыл». – «Соболишку?!» А Гаускин-то соболя видал? В то время соболей под корень повывели. Потому и цена им была соответственная. «Ведро вина поставишь – сдам». Гаускин и вино поставил, и кота за милую душу принял. Мужики одно ведро выпили, другое. Потом воздрались и проговорились, что из-за кота пьют. Гаускин снова бегом к Тимофею Степановичу: «Кот?» – «Кот». – «Ставь еще

ведро, а то Чернову скажу, что котов принимаешь вместо соболя». Тому чего делать – поставил ведро...

Не переводя дыхания, Федор Анисимович стал рассказывать о чем-то другом, поминая какие-то неизвестные Степану имена и фамилии. Но суть рассказа уже начисто ускальзывала из сознания засыпающего парня. Незаметно для себя он лег на лавку, пристроив под голову угол стариковской котомки, уютно пахнувшей дымком и махрой, подогнул к животу ноги, прикрыл глаза и чуть ли не сразу увидал стайку знакомых деревенских ребятишек, с веселым криком бежавших по деревенской улице. Вокруг было солнечно, зелено, радостно, и мать, выйдя за ворота, весело шурилась и звала вернуться в дом, где его ждал незнакомый высокий старик в распахнутом, в прорехах и клочьях шерсти полушубке. Старик цепко ухватил его за плечо и вывел в темные сени. Пронзительно заскрипела дверь – и прямо посеред двора на нетронутым снегу обожгли глаз темные фигурки со сложенными на груди руками. Лежали они в ряд, по росту – мал мала меньше. Степан рванулся убежать, чтобы ничего больше не видеть и не слышать, но старик загородил дорогу в избу, смотрел суровыми пронзительными глазами – вылитый Николай Чудотворец с бережно хранимой матерью иконки. Висела она за пологом в изголовье ее кровати, и Степан слышал порой не всегда разборчивые слова страстной молитвы, в которой мать призывала Чудотворца спасти и сохранить отца, сестренку, его – Степана. И никогда не слышал, чтобы она просила за себя... Отца старик так и не уберег. И хотя у Степана и без того особого доверия к возможной его помощи не было, но после похоронки и мать вроде перестала молиться по ночам, а он и вовсе прекратил думать о неведомом заступничестве, потому что если бы оно было, не было бы ни войны, ни похоронок, ни смертной усталости матери после надрывной работы, ни долгих голодных зимних дней и ночей, которые в его короткой памяти сливались в единое холодное и неуютное пространство первых месяцев войны. Потом, правда, стало привычнее и полегче, а сам он уже твердо знал, что в жизни самая надежная опора лишь на самого себя да на тех людей, которые жили рядом и так же упрямо, а порой и через силу тянули лямку нелегкого совместного существования...

Степан отвернулся от старика и снова, преодолевая ужас, посмотрел во двор. Теперь он ясно разглядел, что это его сестренки лежат на снегу и смотрят в далекое холодное небо прозрачными синими глазами. Он стал проваливаться куда-то, теряя сознание, и проснулся. В непроглядной темени избы не то чтобы расслышал, сколько ощутил какое-то шевеление, шорохи, всхлипывание. Все еще не избавившись от обморочной оторопи страшного, непонятного сна, он приподнялся, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в темноту перед собой. И вдруг отчетливо разобрал доносившиеся сверху слова: «Помоги мне грешному и виноватому перед всеми в предстоящем житии. Умоли Господа даровать мне оставление грехов, которые сотворил словом и делом. Умоли Господа избавить меня и раба божьего Степана, вовсе безгрешного, от мытарств и напрасных мучений...»

Степан не сразу понял, что это на печи, над его головой, молится Федор Анисимович. Он еще долго вслушивался в слова молитвы, которые становились все более неразборчивыми и непонятными и, наконец, заснул крепким, без сновидений сном.

## Чужой

Этой же ночью... Хотя нет, получается, что несколькими сутками позже того, как Степан с Федором Анисимовичем отбыли в Старой Романовке первую свою ночевку, к их родной деревне по проселку от райцентра неторопливо шел человек. Ночь от полнолуния и чистого звездного неба была тиха и светла. Светла дорога, светлы овсы на узкой придорожной кулиге; серебрилась от полной луны река, светлый туман висел над заречными лугами. Еще не остывшая от дневного жара земля даже сквозь подошвы запыленных хромовых сапог доставала уютным теплом, а волны по дневному сухих окрестных запахов накатывались на путника то от темного ельника чуть в стороне от дороги, то от засеянного пшеницей взлобья, бывшего когда-то выпасом, то от сбившегося у воды невеликого табунка коней, то от изб показавшейся наконец деревни, убористо и не по-нонешнему удобно расположившейся на крутом берегу.

Разглядев впереди деревню, человек, как ни странно, шаги не ускорил. Напротив, двинулся дальше медленно, даже осторожно. А у никудышного от старости мостка через спокон веков безымянный ручей, за которым на взгорке хорошо виделось прясло конного двора, и вовсе остановился. Поставил на траву небольшой фанерный чемодан, скинул с плеча и опустил рядом тяжелый футляр с трофейным аккордеоном и замер, прислонясь к покосившемуся столбу, поставленному некогда для упора перекрывавшего мосток поперечного бревна. И стоял он так довольно долго – не то в нелегком раздумье о чем-то, не то в тоскливой нерешительности. А может, хотел собраться силами перед каким-то важным для него шагом. Впрочем, о чем раздумывал тогда этот человек, никто и никогда теперь не узнает. А вот то, что он не сразу вошел в деревню, разглядел в эту светлую ночь старик-сторож, сгорбленной тенью вынырнувший из-под мостка, куда незадолго до того спустился по нужде от конного двора. Сняв с плеча старенькую «ижевку», он осторожно подошел к незнакомому человеку. Разглядев на вылинявшей гимнастерке нашивки за ранения и одинокий орден Красной Звезды, он успокоился и вместо приветствия спросил:

– Никак с фронту?

– С него, – не сразу отозвался незнакомец хриплым сорвавшимся голосом. Видать, в горле пересохло от долгого молчания. Хотя и от волнения такое случается – не сразу выразишь самое простое объяснение. Но поскольку внешне никакого волнения в человеке не выказывалось, наоборот – был малоподвижен и не рвался разговор продолжить, сторож, любопытство которого подстегнула едва уловимая знакомость облика неподвижно стоявшего напротив человека, решился на дальнейшие расспросы.

– Интересно же тогда, куда направление держать собираешься? Поблизости, на ночь глядя, одно только и будет, что вот это поселение. То есть деревня. По старости лет нахожусь добровольно в сторожах. А ты вроде не с наших мест? Или как?

– Не с ваших...

– Я и гляжу. Вроде с наших, а с другой стороны – не с наших.

– Перфильева... Николая... избу не укажешь?

– Председателя, значит, требуется? И казать нечего – вон она, с самого краю находится.

Никак, воевали вместе?

Человек, наклонившийся было за чемоданом, замер.

– Было дело... Воевали. – Выпрямился, вскинул на плечо футляр с аккордеоном. – Говоришь, крайняя?

– Крайняя, крайняя, не сомневайся даже. Только в настоящий момент его в наличии не имеется. Третий день как на покосе.

– А дома... Есть кто?

Снова у него сорвался голос. Тогда он сделал вид, что действительно горло пересохло. Откашлялся, сплюнул, свободной рукой застегнул пуговицу на воротнике. Сторож внимательно следил за каждым его движением, и цепкая память бывшего не из последних охотника, уже почти без сомнений подсказывала ему, что этого человека он когда-то видел и знал, но где, когда и в каком качестве, никак не вспоминалось, не отыскивалось в непосильном уже ворохе прожитого.

– Надо думать, парень его должен быть в наличии. Машину до самого темна налаживал. Значит, в наличии.

– Больше никого?

– А кого больше? Катерина, как полагается, с Николаем подалась. Я почто в сторожах-то нынче? По причине, что подчистую все на покосе.

– Парня как зовут?

– А Санькой и зовут... По такому делу, может, закурить чего отыщется, солдатик? Ночь такая – все наскрозь видать. Без курева мысли разные одолевают. Как, скажем, жизнь наша складывается, и все такое. Взять хотя бы тебя...

– Не курю, отец.

– Сказывали – на войне все курят. Ты громче имя стучи. Дело молодое, спят, поди, без задних ног.

Человек, было, остановился, услышав про множественное число спящих, но потом, решив, что по причине более чем преклонного возраста сторож-доброволец оговорился, уверенно направился к стоявшей чуть на отшибе избе председателя. По походке, по решительному широкому шагу, по чуть заметной хромоте старик наконец узнал ночного гостя. Хотел было податься следом, сам не зная зачем, но, опомнившись, перекрестился и медленно двинулся к конному двору, на котором в эту пору не осталось ни одного коня, но зато на топчане в конюховой можно было, не в пример опостылевшей избе с кислым застоявшимся запахом неухоженного жилья и тяжелым дыханием больной старухи, без беспокойств продремать или просидеть до утра, размышляя над темными несообразностями нахлынувших воспоминаний...

Не доходя до избы, человек остановился у потемневших от времени лиственничных бревен, сваленных у заплота. Судя по всему, заготовили их давным-давно для починки подгнившего оклада, но с тех пор так и лежали они нетронутые, закаменевшие от жары и морозов, дочиста изгнавших из них последние капли влаги и смолистых запахов. Неказистая была изба, не председательская...

## В год «Великого перелома»

В свое время досталась она Николаю Перфильеву, как единственному оставшемуся в живых наследнику. Изба, молодая кобылка Чалка да четыре десятины заброшенной земли на дальней кулиге – вот и все, чем стал владеть вернувшийся из армии за два года до сплошной коллективизации Николай. Служил он тогда в охранных частях в далеком и мало кому здесь ведомом городе Новосибирске и рассчитывал остаться служить дальше, поскольку, как успешно овладевший грамотой и неплохо подкованный политическим самообразованием, получил направление в командирскую школу. В это время и подоспело письмо от сердобольного соседа Ильи Малыгина, в котором тот, безо всяких там предисловий и отступлений, сообщил, что отец его вместе с малолетней сестренкой Дашкой по неосторожности до смерти угорели в дождливый осенний день на дедовской заимке, куда Иннокентий отправился, чтобы перевезть стожок прошлогоднего еще сена. Мать, и без того хвораая многолетней, так никем и не распознанной постоянной нутряной болью, увидав черные распухшие лица покойных, слабо вскрикнув, повалилась без памяти посеред двора на покрытую первым нестойким снегом землю и, не приходя в сознание, отошла на следующую ночь, не разбудив тихой своей кончиной оставшуюся для пригляда за ней соседку. Так и похоронили всех разом под скорбное молчание односельчан, уже отвыкших от такого количества в одночасье случившихся смертей. На небогатых и непривычно трезвых поминках решено было отписать о случившемся Николаю и просить стоящее над ним воинское начальство отпустить того если не насовсем, то хотя бы на приличествующую случаю побывку, чтобы распорядился невеликим хозяйством и удостоверился на свежей могилке в своем окончательном сиротстве. Помнится, кто-то из стариков высказал несогласие с таким решением, заявив, что если уж нападает подобный мор на одно семейство, то не иначе как Господня, а то, не дай бог, другая какая кара, и лучше бы побережься от нее последышу вдалеке, пока непонятная беда не растрясется без применения во времени и несчетных километрах. Но бабы, все как одна, воспротивились такому совету, загомонив, что не узнать о горе последней родной душе и не по-людски, и не по-божески. У появившегося через две недели Николая еще оставался выбор – то ли, распродав и раздав нехитрое имущество, вернуться в далекий город и продолжать овладевать военными и политическими знаниями для скорой и необходимой стране командирской карьеры, то ли впрягаться в лямку чуть живого хозяйства и тянуть его неведомо куда. Уже неплохо разбиравшийся в основах тогдашней политграмоты красноармеец Николай Перфильев догадывался, что нынешняя, не в ногу с торопившейся в будущее страной, деревенская жизнь в скором времени неизбежно подвергнется непростому переделу. Но как и в каком направлении это будет происходить, вычитать и разузнать еще было негде. Поэтому после недолгих раздумий решил Николай окончательно распроститься с родными местами, показавшимися ему после шумной и торопливой городской жизни застывшими в сонном предзимнем оцепенении. Но недаром говорится, сколь за судьбой не гонись, все равно получится, как бог велит, а не как тебе в башку стукнуло. Собрался Николай перед отъездом на недельку-другую на ближнюю зимовьюшку побелковать маленько. Да еще рассчитывал по первотропу зайчишку стрелить. Во-первых, заказ из городу был на ладную длинноухую ушанку. А зайчатина на харч в дальнюю дорогу сгодится. Разворошил отцовские охотничьи припасы (покойник особо охотой не увлекался), глядь – дробь кот наплакал. В лавку на самый на охотничий сезон нечего было и соваться. Пришлось подаваться на поклон к тем, кто замешкался откочевать в отведенные ухозя. Таких к тому времени в деревне всего не то два, не то три человека оставалось, в том числе и Катин отец Матвей Боковиков, к которому Николай наладился после того, как без толку погостевал у остальных замешкавшихся. Подошел он к боковиковскому двору и только в дверь собрался стукануть, как та нараспашку, и Екатерина в одной вылинявшей ситцевой кофтенке – словно не тянул с утра северный обжигающий

низовик – опророметью вылетает. Чуть с крыльца не сбила отшатнувшегося Николая. Глаза не то сердитые, не то разобиженные на что-то, вот-вот слезами брызнут. Всего-то секунду-другую, опешив от неожиданного препятствия в новенькой красноармейской форме, смотрела она на Николая, затем с такой же злой стремительностью кинулась в стайку и чуть погодя с грохотом что-то там обрушила, от чего в ошалелом кудахтаньи зашлись куры, а разбуженный древний пес Лапчик, так и не показавшись из-под коробчатых саней, редко и хрипло закашлял и забухал, видимо, считая эти жалкие потуги на лай хозяйским беспокойством по поводу непонятного шума в стайке и присутствия на крыльце незнакомого человека. Вот в эти-то короткие секунды, как потом всю жизнь считал Николай, окончательно и навсегда определилась его семейная, да и вся остальная судьба. Оно конечно, до настоящей определенности оставались еще нелегкие и даже страшные по своим последствиям для всех для них годы. Но та первая их встреча оказалась памятной до мелочей обоим. Екатерине тоже запомнился растерянно-восхищенный взгляд Николая, про которого подружки на посиделках столько всего уже наговорили и навывдумали, что поневоле в ушах застряло и даже интерес обозначился. Браво тогда еще выглядел Николай – подтянутый, строгий, неразговорчивый по пустякам, стойко, без пьяной расслабленности и жалоб переносящий навалившееся горе.

Пока в горнице гость с отцом вели неспешный разговор о нынешней крестьянской жизни и о том, что в городе эту жизнь толком не понимают да и понимать не могут, Екатерина бочком прошмыгнула в задоски и оттуда сквозь незаметную щель осторожно разглядывала невнимательно поддакивающего хозяину Николая. Вдруг, словно почувствовав ее взгляд, тот внимательно посмотрел в сторону ярко расписанных прохожим умельцем задосок. Свет от близкого окна осветил его серые хмурые глаза и светлые, непривычно, не по-деревенски подстриженные волосы. Екатерине показалось, что он разглядел и щель, и ее любопытный глаз. Залившись краской стыда, она резко отшатнулась и неосторожным движением уронила прислоненное к стене коромысло. Коромысло, как полагается, что-то задело, что-то упало, разбилось. Екатерина ни жива ни мертва опустилась на лавку и услышала сердитый голос отца:

– Совсем сдурела девка. Что ни скажи, все не по ей. Баба моя еще третьего дня в Романовку к родне подалась. Те знать дали, что Сашка Рогов – слышал, поди, о нем? – Катьку сговаривать собирается. Ну, она вроде как разузнать, по второму разу уже туда. Пошло дело на лад, так сам тому не рад. Эта как услышала, словно сатана какой в её поселился. Того дуреха не понимает, как веревочка ни вейся, кончик ей все равно бывает.

– Не будет, – отчетливо высказалась из-за задосок Екатерина.

– Чего не будет-то, чего не будет? – продолжая начатый еще до прихода гостя спор, закричал отец. – Больно разговорная ты у нас стала!

– Какая была, такая и стала. Не старое время силком заставлять. Сам говорил – все Роговы кулак на кулаке. А у этого и без меня невест полон двор отыщется. До столько лет холостой был, а сейчас чего-то удумал. Сказала, не пойду – и все! А будете заставлять, в райком пожалуюсь.

– Нет, ты слышал? Слышал? – от неожиданных слов дочери у хозяина даже голос сорвался, вместо солидного мужского баса какой-то чуть ли не бабий взвизг получился. Очевидно, чтобы самого себя привести в чувство, он от души шарахнул по столу крепким корявым кулачищем. – Дожили, что ножки съежили! На родных родителей заявлению писать собирается! Чтобы их, значит, ликвидировать, а она тогда, что хочу, то и ворочу.

– Никто вас ликвидировать не собирается. Нет сейчас такого закона, чтобы без любви и без согласия.

– Понял, Николай Иннокентьевич, кого мы на свою погибель возрастили? Любовь ей подавай! Мы что ль тебе её отыскивать будем? Ништо, сейчас спесива, потом скажешь спасибо. Вот ты, Колька, человек грамотный и при военной форме, можно считать, как будущий командир. Скажи, имеет она право так с родителями обращаться?

Николай не отводил взгляда от задосок, за которыми ему отчетливо виделась Екатерина такой, с какой столкнулся с ней в дверях – распаленная, стремительная, с обжигающим взглядом серо-зеленых глаз. Почувствовав, что молчание затянулось, а Матвей Боковиков с удивлением уставился на него, он тихо сказал:

– Дочка ваша о сегодняшней жизни правильное представление имеет. Без любви и без взаимной договоренности противоречит нормам советской семьи и брака.

– Чему? Каким таким нормам?

Николай, как это с ним случалось в те минуты, когда должно было произойти что-то важное, весь подобрался, облизнул пересохшие губы и, сообразив, что если еще хоть немного промедлит, ничего не получится, кроме взаимного непонимания и его собственного, на всю оставшуюся жизнь, недовольства собственной нерешительностью, стал лихорадочно подыскивать необходимые слова. Понадеявшись, как на спасение, на едва промелькнувшую искорку интереса в недавнем встречном взгляде Екатерины – была не была! – спросил:

– Поближе что ль никого не сыскалось? Такая красавица, а вы ее силком?..

От неожиданного поворота разговора Матвей Боковиков на некоторое время онемел и почему-то оглянулся на дверь. Екатерина затаила дыхание, боясь пошевелиться.

– Надо бы и ее спросить, может, ей здесь другой кто глянулся?

– Чего ее спрашивать? Сама бы сказала, язык имеется. И даже длинный чересчур, – повернулся он к задоскам. – Не знаю, какая она там раскрасавица, только нос и от своих, и от чужих воротит. Тут какое дело? За худого замуж не хочется, а добрые не на елках растут, сразу не сыщешь. Сашка Рогов, конечно, мужик шепутной, только если он глаз на нее положил, тут с ним тягаться некому.

– А может, кто и сыщется?

Екатеринин родитель начал что-то соображать. С интересом посмотрел на Николая, потом на задоски, хмыкнул и повеселевшим голосом сказал:

– Запрягали мы, паря, с тобой прямо, да поехали больно криво. Никак что-то сообразить не догадаюсь, куда ты воротишь? За дробью зашел или Катька поглянулась? Так ты ее и не видал поди толком. Катька, давай сюда!

– Зачем? – каким-то не своим голосом отозвалась Екатерина, чувствуя, как горит лицо от прихлынувшей крови, а глаза повлажнели от неожиданных слез.

– Еще один жених для тебя сыскался. Сулится Сашке Рогову дорогу перегородить.

– Перегораживать нечего.

– С твоей стороны может и нечего, а с его вот-вот сваты прикатят.

– Как прикатят, так и укатят.

– Да ты иди сюды-то. Прилипла, что ль, там? Когда не надо, смелая, а где надо, не отыщешь.

Екатерина выступила из-за задосок и, не глядя на Николая, прислонилась спиной к теплему боку печки. Она еще толком не понимала, что сейчас может произойти, как повернется этот неожиданный разговор, от которого у нее почему-то незнакомо заняло сердце, а в глазах все подернулось каким-то влажным туманом – не разглядеть толком ни поднявшегося из-за стола Николая, ни насмешливо поглядывающего то на него, то на неё отца. Но каким-то дальним, глубинным чутьем догадалась, что от того, что скажет сейчас их гость, сложится или так и не сложится вся её дальнейшая жизнь. В голове мелькнуло: «Позовет – пойду!» Но тут же урезонила себя: «Не бывает так-то, чтобы сразу. Даже слова не сказавши, даже толком не разглядев друг друга...» И только потом услышала хриплый от волнения голос Николая:

– Понятное дело, все будет, как она сама пожелает, никаких даже вариантов, чтобы без её согласия... Только подождать маленько требуется, чтобы оформить. Имеется в виду рапорт и все, что по случаю увольнения в запас положено. А на другой поворот, можно в город, со мной... Если тоже согласие будет...

– Стой, стой, стой! – вмешался наконец несколько подрастерявшийся родитель. – Что-то ты тороплив больно, не разувшись париться наладился. Вы с ней и слова еще не сказали, а ты уже в город приспособливаешься. Вроде не жена еще. Она ведь девка, как ты уже понять должен, норовистая: ты ей в лес, а она белье на реку полоскать. Ты не мне, ты ей говори, если, конечно дело, есть что сказывать.

– Екатерина Матвеевна, – неожиданно громко начал Николай, повернувшись к девушке. Увидел, как она вздрогнула и удивленно, как ему показалось, посмотрела на него. От этого взгляда он смешался, позабыл все заготовленные слова и тихо сказал: – Екатерина Матвеевна... Как вы решите, так и будет. Только до сих пор со мной ни разу не было, чтобы с первого взгляду окончательно и бесповоротно. Может быть, у вас сомнения какие-нибудь имеются и все такое, но лично я, если решение принял, буду дожидаться взаимного ответа. Сколько надо, столько и буду дожидаться. Понимаю, вам сразу высказать ничего невозможно, потому что с моей стороны полная неожиданность. А с другой стороны, я теперь только вас буду иметь в виду на всю остальную жизнь. Такая вот диалектика настоящего момента.

– Во как! – подвел итог не очень вразумительной речи озадаченный Матвей. – Попал я с вами, как черт в рукомойник. Ты-то, дочка, чего скажешь? На такие заявления бесповоротный ответ требуется, чтобы товарищ командир попусту сапоги об наш порог не стаптывал. Дашь ему надежду какую или снова нос воротить будешь?

Екатерину словно что толкнуло. Она смело посмотрела на Николая и с затаенной радостью, от чего в голосе чуть заметно обозначилась улыбка, сказала:

– А мы с ним сегодня на посиделках этот вопрос полностью обговорим. Без свидетелей.

– Ты это... того... Не зарывайся, – посуровел родитель. – А то он неизвестно чего подумает.

– Подумает, значит, и говорить не об чем, – с вызовом посмотрела на Николая Екатерина.

– Не подумая. И полностью согласен, чтобы обговорить. И чтобы вдвоем...

– Можно не на посиделках, – совсем разошлась Екатерина. – Пускай приходит, как стемнеет, на мостки. Там и поговорим, как и что. Только сразу объявляю – если у тебя изба так и останется по банному крыта, хозяйкой в ее не пойду.

– Чего я тебе говорил? – Глаза у Матвея смеялись, но голосу он постарался придать нарочитую суровость. – Не девка, а заноза на одном месте. В кого така уродилась, сами в голову не возьмем. Значит так – сговоритесь, так сговоритесь, перечить шибко не собираюсь. А не выйдет ладу, не обессудь, командир, сам напросился.

Тут следует, пожалуй, сразу пояснить про две для постороннего человека закавыки, обозначающиеся в этом первом для действующих лиц разговоре – про «мостки» и про «избу». На мосту через безымянный ручей при въезде в деревню местная женихавшаяся молодежь по издавна заведенному обычаю подводила итог своим отношениям перед тем, как засылать сватов или давать согласие на подобную засылку. И если на деревне узнавали, что та или иная пара провела на мостках, можно считать на виду у всех, время от вечерней зорьки до первых петухов, считалось, что назад повороту быть не должно и дело теперь за окончательным сговором и скорой свадьбой. Поэтому приглашение Николая «на мостки» означало со стороны Екатерины согласие считаться его официальной зазнобой и дожидаться положенного в таких случаях окончательного оформления продемонстрированных перед всеми отношений. А еще хотелось Екатерине испытать скоропалительную ослепленность Николая. Ни сама припомнить не могла, ни в быличках старших, ни в пересудах подруг не встречалось примеров про такое с первого взгляда взаимное желание податься навстречу друг к другу, про такое безоговорочное доверие к почти незнакомому человеку с внимательным, восхищенно ласковым взглядом. «Решится, сама не одумаюсь – значит, тому и быть», – подвела она итог своим заматавшимся чувствам и, откачнувшись от печки, изо всех сил стараясь не оглянуться, вышла из избы, сама не зная, куда и зачем.

Ну, а насчет избы она объявила так, для шутки. Тут расклад получался такой. Больше занимавшийся извозом, чем землей и хозяйством, покойный родитель Николая считался мужиком не то чтобы ленивым, скорее, нерадивым к окончательному, раз и навсегда обустройству жизни. Про таких говорят: «За что ни возьмется, ни в чем конца не сыщет». То подававшийся на прииски, то увязавшийся за дальним обозом на Амур, то устроившийся было плотником рубить с пришлой артелью мост, вдруг кому-то понадобившийся на глухой таежной реке, а в последнее время всерьез занявшийся зимним извозом и чуть ли не месяцами пропадавший в дальних поездках к Иркутску и Бохану, Иннокентий Перфильев так и не собрался ни обустроить разваливавшуюся дедовскую заимку, ни перекрыть крытую корьем избу, ни огородить и привести в порядок обширный двор на самой окраине деревни. Благо, чужие сюда забредали редко, а у своих не принято было попрекать и лишний раз осуждать человека с устойчивой репутацией непутевого. Не потому ли, что у самих чуть ли не в каждой родове можно было сыскать такого же, если не еще более непутевого и непоседливого, из тех, кто надеется сыскать свое счастье путем постоянного поиска все новых и новых возможностей к получению всего сразу и вдруг. Таким, как правило, не сидится на месте, и до самой старческой немочи или внезапной кончины от надсады или другой какой беспутной хворобы, они уверены, что им просто не повезло, что злая судьбина уводила прямо из-под рук уже вот-вот обозначившуюся было долю, и те, кто были похитрее и поизворотливее, урывали у них из-под носа долгожданное счастье. Только что это было за счастье, никто из них никогда бы не ответил. И потому, что не знал, и потому, что в глубине души боялся его едва ли не больше привычных тягот и несчастий.

Николай перед самой армией принялся было наводить порядок – огородил двор, завез лес на новую стайку взамен почти развалившейся старой. Договорился было о покупке теса на крышу, но, так и не успев ничего толком, отправился служить под причитания матери, словно догадавшейся о том, что не суждено ей больше будет повидать своего неразговорчивого заботливого первенца. У отца руки до крыши так и не дошли, хотя по первости он горячо поддерживал отпрыска в предстоящем переустройстве. Так и остался еще на годы большой уютный дом, резко отличающийся от прочих просевшей, темной, на две стороны «по банному» крытой крышей, каких давно уже ни у кого поблизости не оставалось.

Крышу Николай до отъезда в Новосибирск перекрыл, с Екатериной обо всем сговорился, даже на охоту на недельку смотался в ближнее бесхозное ухожье, после чего отбыл за разрешением на окончательное возвращение у командования своей командирской школы. Но скорого возвращения, не по его, понятное дело, вине не получилось.

Чего только не говорили в деревне по этому поводу, чего только не нагородили, не напридумывали, обвиняя то Николая, то непутевые, далекие от их жительство власти. Порой грешили и на Екатерину, которая якобы сообразила наконец, что за могучими спинами роговской родовой жизнь ее наверняка сложится и посытнее и покрасивше, чем с сиротой из непутевой семейки, посулившего ради своей неожиданной любви отказаться от намеченного вскоре командирского звания и от вполне реальной возможности перебраться на жительство в большой город, чему на первых парах горько позавидовали как незамужние пока Екатериныны подруги, так и обремененные торопливо народившимся потомством от «нерадивых и бестолковых», как честили своих неповоротливых в житейских делах мужей, молодые бабенки из своей и даже окрестных деревенок. Слухи об обещанной ей свадьбе щедро расплескались по окрестностям, слишком уж заметными были, как сама Екатерина, так и получивший отставку Сашка Рогов, славившийся окрест и своей силой, статью, и удачей почти в любом деле, за которое брался. Сохнувших по нему девок вокруг пруд пруди, а потому неожиданный Екатерины отказ, полученный уже после того, как её мать обо всем до мелочей с ним сговорилась, вызвал такие бурные пересуды, каких в здешних местах даже старики не припомнили. А тут еще и названный жених исчез – ни слуху, ни духу, ни весточки, ни письмеца, думай, что пожелается. Вот и Екатерине чего только не думалось, вплоть до самого что ни на есть горького и

обидного. Одного только в голову не могло прийти из-за полного незнания того, что случилось с Николаем в Новосибирске осенью 1929 года.

Несмотря на поданный рапорт об отставке по семейным обстоятельствам, его вместе с курсантами командирской школы, ввиду чрезвычайных событий на недалеком Алтае, придали в помощь частям ОГПУ и, не дав толком собраться и оповеститься, отправили эшелонам до Барнаула, а дальше, кого на конях, а кого и своим ходом, перебросили в отдаленный район, запыхавший в «год великого перелома» огнем очередного крестьянского восстания. Немало их тогда тлело и занималось по Сибири. Начавшееся активное раскулачивание сибирских крестьян, едва передохнувших и вставших на ноги после многолетнего гражданского разора, большинство из них сочли, по тогдашним понятиям, вопиющей «классовой» несправедливостью. Повсеместная по стране ставка на «беднейшее крестьянство», призванное бороться с «кулачьем», в Сибири почти не срабатывала. В «бедняках» здесь вполне справедливо числились те, кто не умел и не хотел работать, пьяницы, горлопаны, искатели фарты и легкой жизни, которых было далеко не большинство в сибирских деревнях. Получившие разрешенную властью возможность «прижать к ногтю», грабить и обездоливать тех, кто не в пример им вкалывал до седьмого пота и более-менее успешно устраивал свою нелегкую жизнь, они под эгидой «классового энтузиазма», прикрывавшего их грабительско-разбойничью суть, в своем подавляющем большинстве с полной безоглядностью на последствия, сочли этот грабеж священной «социалистической справедливостью» и приступили к нему без оглядки на нарушенные судьбы, обездоленных детей, разоренные и исчезающие в небытии хозяйства. А нараставшую день ото дня ненависть со стороны тех, кто не желал с этой несправедливостью мириться, приписывали к неизбежным последствиям все той же «классовой борьбы», призывавшей не проявлять мягкотелость во имя неизбежного счастливого будущего. Среди недовольных таким разворотом политики советской власти нередко оказывались даже прежние ярые ее сторонники и защитники – красные партизаны, демобилизованные красноармейцы, коммунисты и не очень соображавшие, в чем дело, комсомольцы. Вот и Добытинское восстание, подавлять которое прибыли огеппушники и будущие красные командиры из Новосибирска, возглавил местный уполномоченный ОГПУ Добытин. Он освободил и вооружил арестованных «кулаков». К ним примкнуло немалое число обиженных староверов и ойротов. Они разгромили в районе советские учреждения и отделения милиции, в нескольких селах арестовали, а кое-где и ликвидировали не в меру усердных, а потому особо ненавистных соцработников. К восставшим присоединились участники разгромленных в соседнем районе таких же отрядов ойрота Тужелая. Несмотря на умелое и отчаянное сопротивление, в ходе спецоперации ОГПУ восстание через месяц было подавлено. Половина его участников была схвачена или уничтожена, а оставшиеся в живых подались через границу в Китай. Раненого и попавшего в плен к староверам Николая Перфильева они прихватили было с собой для обмена на своих, попавших в плен, но резонно посчитав, что он вряд ли выдержит трудности нелегкого пути через почти непроходимый хребет и наступившую суровую зиму, оставили его под пригляд в тайном скиту, в надежде, когда оклемается, на доставку в их новое заграничное поселение, из которого они намеревались снова двинуться на бой «за божескую справедливость» и спасение «неправедно плененных».

О том, как оклемавшийся в скиту Николай решил на почти безнадежный побег, рассказ особый. Не любил он об этом вспоминать, и кроме своего непосредственного на то время начальства и соответствующих органов, больше никому так и не рассказывал. Те же, видя его предельную изможденность и несомненную правдивость в каждом слове, махнули на него рукой и отпустили восвояси в родные приилимские места для восстановления порушенного здоровья и отыскания нового места приложения оставшихся сил на благо построения победоносного социализма. Так что до родного места жительства Николай добрался лишь поздней весной, в аккурат к уже неделю гудевшей там гулянке по поводу случившейся наконец-то сва-

дбы Екатерины и Александра Рогова. О ней Перфильев прослышал еще в райцентре, куда первым делом явился отметить и поинтересоваться, не найдется ли подходящей работы бывшему красноармейцу, получившему ранение при подавлении кулацкого мятежа. Районное руководство явно обрадовалось его появлению, оказавшемуся весьма кстати в связи с намечавшимся и в их родном приилымье масштабном раскулачивании, и с места в карьер назначило уполномоченным по предстоявшему вскоре выявлению и разоблачению «врагов социалистических преобразований в деревне». Отпросился лишь на несколько дней побывать в родном доме и навести хоть какой-то порядок в сумбуре нахлынувших переживаний и непреходящей сердечной боли при известии о недождавшейся его Екатерине. Об этом ему подробно поведал случившийся в райкоме с какой-то неотложной ябедой на тогдашнего председателя Ефим Трынков, одним из первых записавшийся в колхозники по причине полного разора из-за нерадивости собственного хозяйства.

– А мы там на тебя, Николай, уже рукой махнули. Сгинул и сгинул – ни весточки, ни слушка какого. Бабы наши базарить стали, что тебя в Москву, в руководство назначили за особые, значит, заслуги перед нашей родной советской властью, и теперь тебе про наше место жительства даже слышать нежелательно. Екатерина, как прослышала про такие дела, поначалу в тайгу подалась в зимовьюшку – отсидеться от таких новостей. Потом заявляется и прямо к Сашке – «засылай сватов, согласная». Ну, а Роговым только повод дай свою силу и богатство обозначить. Пятый день деревня пьяным-пьяна. Еле сбегал здесь доложить, как кулачье и их прихвостни своею властью похваляются.

– Какие они кулачье? – через силу выдавил из себя Перфильев. – Батраков не держат, все своим горбом и руками.

– Не скажи! – чуть ли не взвизгнул от накопившейся внутренней ненависти Ефим. – Я своим горбом без малейшего передыху кажильюсь. А какие такие доходы поимел? А Сашка, глянешь еще, какую домину себе отгрохал. Твое жилище, ежели с ним соотнести, для стайки на их дворе не сгодится.

– А ты, значит, об их гулянке сюда доложить явился? – морщась, словно от очередной порции боли до сих пор не заживших ранений, хмуро спросил Николай, прекрасно осведомленный еще в свои позапрошлые здесь годы о бесхозяйственности и лени Ефима, изнывавшего от зависти к тем, кто не в пример ему даже в эти нелегкие времена довольно крепко утвердился на ногах и пытался стоять как можно крепче, чуя нутром очередное накатывающее неблагополучие всеобщей жизни.

– Кому гулянка, а кому подлянка. Мозги у простого населения по этому самому случаю на раскорячку. То ли за советскую власть держаться, то ли за Роговыми невесть куда подаваться. У нас уже двое из колхоза заявление выходить накарякали. На вольные хлеба подаваться решили. А нет того соображения – где воля, там и недоля. Кому слава, а кому потрава. А на потраве окромя дурнотравья ничего не соберешь. Ты вот тоже таку девку упустил, можно сказать, по этой самой причине. Вот и получается сплошное вражеское смущение против нынешней государственной политики на сплошную коллективизацию. Мириться с этим не собираюсь, для того сюда и прибыл. Сейчас не понужнем, потом поздно будет.

Николай снова поморщился, на сей раз от действительно накотившей боли.

– Как изба моя там – целая еще? – нехотя поинтересовался он после затянувшегося молчания.

– Так это... – снова оживился Ефим. – Нонешний председатель – да ты его должен знать, Петька Зотов – глаз на нее было положил. Клуб какой-то в ей собрался открыть, поскольку на отшибе. Ты-то крышу успел перекрыть, видать, в расчете на Катьку. Так она не дала ему даже близко подойти. Какое у тебя, говорит, право чужим добром распоряжаться? – Понужнула только так, даже за ружьишко схватилась. Не в курсе еще была, что тебя на повышение определили.

– Какое повышение?

– Так я и говорю – слух прошел. Дурные вести не лежат на месте. Ну, она и подалась за лучшей долей. Баба, она и есть баба. А председатель наш нынешний, который Зотов, полностью дурак получается. Тут борьба, понимаешь, не на жизнь, а на смерть, а он клуб какой-то. Сам толком объяснить не может, для чего он нужен. А жилье твоё в неприкосновенности, как и было.

– Ты на чем сюда добирался? – перебил его Николай.

– Так это... Коня он мне выделил сообщить о происходящих событиях.

– Зотов?

– Ну.

– А говоришь – дурак. Когда назад?

– Так хоть сейчас. Все в полных подробностях сообщил. Посулили содействие и благодарность за пролетарскую бдительность.

– Ты что ль пролетарий?

– Не скажи. В газетах пишут – за ними всеобщее будущее. Без будущего мне никуда. Хозяйство мое в настоящий момент – тараканы с голоду подыхают. На будущее только и надежда. Глядишь, из него и нам чего перепадет. Как считаешь?

Николай промолчал и, прихрамывая, пошел к выходу.

Ближе к вечеру добрались до деревни. Николай соскочил с телеги загодя, решив выйти к дому околицей, никого по пути не встретив. За дорогу Ефим заговорил его до отрыжки, снабжая деревенскими новостями, случившимися за почти годовое его отсутствие. Но не получая в ответ ни неизбежных в таких случаях вопросов, ни ожидаемой реакции даже на самые, по его мнению, злободневные события, уже на подъезде к деревне наглухо заткнулся, явно обиженный демонстративным молчанием Николая. И только когда тот соскочил с телеги, не выдержал:

– Докладать о твоём приезде местному населению или как?

– Сам доложу, когда понадобится, – ответил тот и неторопко пошел обочиной не к деревне, а к запрятанному в березняке на взгорье погосту, ощутив неожиданную потребность сообщить о своем окончательном приезде покойным родителям и безвинно сгинувшей сестренке.

Над могилой родных высилась единственная среди крестов потемневшая пирамидка со звездой, которую он успел поставить еще до отъезда, предварительно оттащив к кладбищенской ограде неказистый, наскоро сколоченный крест, который кто-то установил, видимо, не надеясь на его приезд. Постояв с опущенной головой у осевшего холмика, никаких слов для разговора с родителями так и не отыскал. Как-то не складывалось во что-нибудь вразумительное все, что произошло с ним за прошедшее после разлуки с домом время. Пробормотал только едва слышное «простите», после чего круто повернулся и быстрыми шагами зашел в сад, спустившись с кладбищенского пригорка по направлению к хорошо видной отсюда крыше родительского дома, которому теперь предстояло перейти в его единоличное распоряжение.

Сбил с дверной скобы неизвестно кем подвешенный большой замок, потянул на себя жалобно заскрипевшую дверь, миновал заваленные наколотыми кем-то дровами сени, вошел в горницу. Разглядев в погасающем сумраке керосиновую лампу на подпечье, взболтнул – керосину оказалось достаточно, подкрутил фитиль, зажег, протер пыльное стекло колбы, поставил лампу на стол и сел напротив, опустив на вытянутые бессильно руки голову. И то ли задремал, то ли ненадолго потерял сознание от боли и усталости, которые не отпускали его ни на минуту с тех пор, как он окончательно решил во что бы то ни стало вернуться. Надеялся до последнего. Не судьба, значит.

Очнувшись, когда за окнами совсем стемнело. Зябко поежился. Несмотря на застенную летнюю теплынь, в доме прочно поселилась застоявшаяся пыльная нежилая прохлада, в которой и дышалось с трудом, и шевелиться не хотелось. Преодолев сонное оцепенение, все-таки под-

нялся, вышел в сени, набрал охапку невесть кем нарубленных дров, скинул у печки и, присев на корточки, стал разжигать огонь. Огонь разгорелся неожиданно быстро и весело, потянуло теплом. Вспомнив, что пора делать перевязку все никак толком не заживающей раны на ноге, достал из сброшенного у порога сидора бинт, пожертвованный на дорогу лечащим врачом из Новосибирска, пузырек с йодом, приспустил штаны и стал осторожно разматывать с бедра пропитанный кровью бинт – сказала тряская дорога в неудобной телеге...

Стук и скрип тележных колес, смех, пьяные голоса, шаги, направлявшиеся к дому, застали его врасплох. Потянулся было загасить лампу, но помешали окровавленные бинты в руках и острая боль в никак не заживающей ране. Догадался, что Ефим уже доложил, где мог и успел, о его прибытии, и теперь незваные и явно пьяные гости прибыли удостовериться, насколько реально его неожиданное появление. Приподнялся было подтянуть полуспущенные штаны и кальсоны. Не успел. Скрипнув зубами от боли и злости, плюхнулся на лавку, едва успев прикрыть срам скомканными окровавленными бинтами. Распахнулась входная дверь, но вместо ожидаемых пьяных физиономий он увидел застывшую в дверях празднично разодетую Екатерину. Разглядев его и почти сразу по-бабьи обо всем догадавшись, она обернулась и, задыхаясь, закричала в темноту сеней и преддворья:

– Если хоть кто следом сюда войдет, за себя не ручаюсь. Понужну только так – до дому на карачках поползет. Ближко даже не подходите! Я вас сюда сговорила, мне самой и решать, что и как.

– Не по делу, Катька, несешь. Это ты допрежь сама решала, – раздался со двора пронзительно веселый бабий голос. – А теперь ты на полную собственность и ответственность советской властью зарегистрированная. Ежели что не так – ответ держать будешь. Правильно говорю, мужики?

Пьяные мужские и женские голоса с хохотом и вразнобой поддержали резонершу.

– Тихо! – перекрыв хохот, загремел голос Рогова. – Ежели кому непонятно, что Екатерина Матвеевна сказала, могу на свой лад повторить. Только потом на себя пеняйте, коли что не так образуется.

Голоса и смех разом смолкли.

Екатерина закрыла за собой дверь и замерла на пороге. Прижав ко рту ладонь, чтобы не закричать от разом накотивших раскаяния и сердечной боли, она неотрывно смотрела на Николая и на его окровавленные бинты.

– Поэтому что ль? – тихо, наконец, спросила она.

– Думай, как хочешь, – низко опустив голову, еле выдавил из себя Николай.

– Теперь думай не думай, назад не повернешь. Хоть то хорошо, что думать теперь о тебе по-другому буду.

– Как? – поднял голову Николай.

– Не так, как ты обо мне...

Всхлипнув, она распахнула дверь и выбежала наружу. Притихшая было и начавшая трезветь толпа, осторожно придвинувшаяся было к дверям, расступилась. Екатерина подбежала к стоявшей в стороне у прясла двуколке, заскочила в нее, схватила вожжи, выпрямилась во весь рост и что было сил хлестнула вожжами по крупу лошади. Та рванулась, Екатерина упала на сиденье, и двуколка почти сразу растворилась в темноте быстро наступившей безлунной летней ночи.

Толпа загомонила не то насмешливо, не то осуждающе, но почти сразу стихла. Рогов прислушался к удалявшемуся стуку колес увозившей Екатерину двуколки, отстранил стоявших на дороге и вошел в дом.

Поднявшийся было после ухода Екатерины Перфильев сделал несколько шагов к двери, чтобы закрыть ее на запор, но, потеряв сознание, упал плашмя на пол. Сказались и боль от раны, и многодневные недосыпания, и голодный паек, на котором поневоле пришлось переби-

ваться все последние дни. Рогов, разглядев лежавшего на полу Николая и кучу окровавленных бинтов в его руке, сначала хотел сразу уйти, но внезапное соображение – не пришьют ли в случае чего беспамятство или, не дай бог, чего хуже, их бестолковому пьяному визиту, спровоцированному сообщением Ефима Трынкова и сразу же последовавшим за этим неожиданным требованием Екатерины немедленно появиться в доме бывшего жениха. Все поняли: хочет себя – разудалую, красивую и веселую – выставить напоказ теперь уже навсегда потерявшему ее Николаю. Рогову эта затея сразу не показалась, но перечить не стал – подурит, мол, по первости, потом шелковой будет. Но объяснять все это кому-то постороннему не было ни малейшей охоты. Он склонился над лежавшим Николаем, тронул за плечо. Тот застонал. Облегченно вздохнувший Рогов – живой! – легко поднял исхудавшее тело и перенес на покрытую половиками кровать. Разглядев на столе непечатый бинт и пузырек с йодом, сгреб их, присел рядом на кровать, смочил часть развернутого бинта йодом и стал умело перевязывать все еще кровоточащую рану. Открывшему, наконец, глаза Николаю он спокойно объяснил:

– Не бойсь. У меня еще с первой войны опыт. По тому же месту, что и тебя угораздило. Так что навык имеется. До сих пор хромаю маленько. А так все зер гут. Перемаешься и бегом еще побежишь. Если такое желание появится...

## Встречи

Стук в окно отбросил Саньку от прильнувшей к нему Надежды. Растерянно и слегка испуганно уставился на окно. Девушка схватила платье и отбежала в задоски. Санька посмотрел ей вслед, хотел что-то сказать, но промолчал – ждал повторного стука. В окно снова постукали.

– Чего сидишь-то? – не выдержала Надежда. – Глянь кто. Только в избу не запускай. Мало ли...

– Вроде никого не должно...

– Чего делать-то?

– А я знаю? Сиди там, примолкни.

После очередного стука встал и подошел к окну. Громко поинтересовался:

– Чего надо?

– Открой, Санек...

– Кому открывать-то? Говори, чего надо.

– Сейчас и узнаешь... Открывай. Боишься что ль чего?

– Не открывай! – испуганно прошипела в задосках Надежда. – Чужой кто-то... Не открывай!

– Сейчас, испугался... Дядя Петя, что ль? Случилось чего?

Попытался разглядеть сквозь окно говорившего, не разглядел, пошел открывать дверь. В сенях зажег спичку, отбросил щеколду, едва успел разглядеть освещенное гаснущим пламенем взволнованное лицо Рогова. Остался стоять в дверях, не давая тому войти.

– Если к отцу, то его нет. На покос уехал.

– К тебе я, Санек.

– Чего ко мне-то? Незнакомые вроде...

– А ты в избу только знакомых пускаешь?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.